

Ю. БИЧЮНАЙТЕ-МАСЮЛЕНЕ Юность на берегу моря Лаптевых



Юрате
Бичюнайте-Масюлене

Юность
на берегу
моря
Лаптевых

*Книга издана при поддержке
благотворительной организации
Институт «Открытое общество»
(Фонд Сороса)— Россия
в рамках программы
«Горячие точки»*



*Юрате
Бичюнайте-Масюлене*

*Юность на берегу
моря Лаптевых*

ВОСПОМИНАНИЯ

*Перевод с литовского
Беллы Залесской*

*Предисловие
Анатолия Кима*



«ТЕКСТ»
ЖУРНАЛ «ДРУЖБА НАРОДОВ»
МОСКВА 2001

УДК 821.17
ББК 84(4Лит)
Б67

Художник Татьяна Иващенко

*В оформлении серии
использован фрагмент картины
Эдварда Мунка «Крик»*

ISBN 5-7516-0259-5

© Juratė Vičiūnaitė-Masiūlienė, 1990

© «Текст», издание на русском языке, 2001

КОГДА УХОДЯТ ОБИДЫ...

Юрате Масюлене не принадлежала, очевидно, к искушенным профессиональным литераторам, но ею создана книга высокого предназначения и большого художественного воздействия. Подробный, неприязнательный, простодушный рассказ литовской женщины, уцелевшей жертвы адской сталинской системы «переселения народов», стал одним из скорбных документов прошедшего столетия, который останется в памяти землян как жестокий, нехороший век, когда осуществлялись попытки абсолютного подавления человеческой личности различными тоталитарными режимами — фашистским, советским, китайским, краснохмерским...

Художественное, литературное же значение книги в том, что она «заражает чувством», как говорил Лев Толстой, благодаря искренности и правдивости живого свидетельства автора-героя, сохранившего в своей мучительной памяти мельчайшие подробности каторжного *бытия-небытия*, которые могут быть названы истинными кругами ада — ада массового уничтожения человеческих душ. Но российский геноцид, в отличие от германского, монументального, с дымящимися трубами крематориев, был не газовым и огненным, а ледяным и студеным, помещенным в зону беспредельной таежной Сибири, Колымского края и вечной мерзлоты Заполярья, или безводным и пустынным, как пещи Средней Азии.

Бесчеловечная программа «переселения народов» в СССР таила в себе дьявольскую цель уничтожения «вредной» нации как таковой или, по крайней мере, — полной ее духовной деморализации, ослабления и превращения в пыль истории. Осуществлялось это массовым изгнанием

людей с родных мест и насильственным переселением в далекие края, порой совершенно невыносимые для них по природным условиям. Завозили на чужие земли, народ которых невольно должен был воспринимать появление неожиданных пришельцев как нашествие враждебных чужаков. Возможно, у создателей злодейской программы имелся и такой расчет — на вражду и взаимную обиду народов, с тем чтобы это послужило успешному завершению дьявольских планов.

Однако им не дано было осуществиться. Народы, которые загнали в сутолоку концлагерных коммуналок, не только не пошли на взаимное истребление, не только не перессорились насмерть, а, наоборот, стали помогать друг другу выжить, противопоставив бесчеловечности тоталитарного режима великую живую человеческую доброту.

Так, в 1937 году, глубокой осенью, когда около 300 000 корейцев были насильно репатриированы с Дальнего Востока в Среднюю Азию и Казахстан, местное население, узбеки, туркмены, казахи, не дали умереть с голоду корейцам, поделились, чем могли, и дали им приют в ту первую, самую страшную, зиму ссылки. Тогда-то и началась в Советском Союзе нецивилизованная, варварская практика «переселения народов» — попытка геноцида неудобных режиму малых наций путем насильственных миграционных перемещений. С корейцев началось — продолжилось в последующие годы литовцами, финнами, поволжскими немцами, калмыками, чеченцами, ингушами, карачаевцами, крымскими татарами...

В этой книге с потрясающей силой убедительности показано, как зарождалась в душе у людей, поначалу мало что понимавших, но жестоко страдавших, огромная темная обида на другой народ, на конкретных его представителей, от которых исходило, казалось, все это чудовищное зло, страдание и мучительство... Это русские виноваты, которые и сами жить не умеют порядочно, и другим не дают, они поступают с малыми народами так жестоко и беспощадно, что сами теряют право на всякое доброе отношение к себе...

И проходит у ссыльных время-жизнь в состоянии этой обиды, год за годом, и все силы человеческие идут на отча-

янные попытки физического выживания, на борьбу с голодом, холодом, с полярной ночью, с беспощадной цингой... Думать о чем-нибудь постороннем некогда, постигать истины незачем — уж очень близко подошла неминуемая смерть. Сегодня ты еще жив, а завтра можешь умереть...

Но повествование шаг за шагом ведет нас по дорогам этого страшного исхода народов, тотально осужденных и превращенных в народы-каторжники, в народы-узники. Зек-литовец. Зек-кореец. Зек-чеченец... И вдруг, когда старательно, последовательно и скрупулезно описаны уже события многих лет, — читатель начинает ощущать, что та изначальная обида на несправедливость чужого народа по отношению к своему вдруг отпустила сердце и ушла куда-то.

А происходит это потому, что совершенно естественно и незаметно, читая страницу за страницей текст правдивого и простосердечного повествования, мы становимся свидетелями постепенной перемены душевного отношения автора-героя к оценке и пониманию величайшей трагедии, в которую были вовлечены все народы империи СССР — включая и сам имперский, русский, народ.

Итак, обида народов друг на друга уходит, когда народы вместе переживают одну общую беду, и, в силу природной высшей закономерности, принимают помощь, и сами помогают другим, чтобы выжить, — во имя истинного Братства всех людей на этой земле.

Анатолий КИМ

**ЮНОСТЬ
НА БЕРЕГУ МОРЯ ЛАПТЕВЫХ**

2 июня 1956 года я возвратилась на родину. В поисках работы бродила по родному Каунасу.

Как-то раз на главной улице города — Аллее Свободы я увидела своего бывшего учителя рисования — скульптора Робертаса Антиниса. Я подошла к нему и представилась. Пожилой и нездоровый человек, он схватил мою руку и поцеловал, сказав: «Низко склоняю голову перед мучениками, отстрадавшими за весь наш народ!» Учитель целует мне руку?! Его слова так тронули меня, что я не сдержалась и расплакалась. Я оплакивала свою загубленную молодость, искалеченную жизнь, потерю близких. Но это были и слезы радостного волнения: есть еще люди, понимающие, что произошло, что стряслось с нашей Литвой.

Я решила описать все, что пережила за пятнадцать лет изгнания, что вынесли мои родители, братья, дети, какие испытания выпали на долю всей нашей семьи, которая никогда не только ничего плохого никому не делала, но даже и не желала. Однако болезни и смерть дорогих людей все не давали собраться с мыслями. Но вот наконец я решилась: расскажу все, что помню, все, как оно было, как я видела это в ту пору и как понимаю сегодня.

* * *

В одну из теплых июньских ночей 1940 года я никак не могла уснуть: с Зеленой горы*, по улице Пародос, плюясь огнем, с грохотом ползли танки, как разъяренные звери, круша мостовую. Мы жили рядом с Департаментом полиции, на проспекте Витаутаса, 69, где мои родители снимали квартиру на втором этаже в доме еврея Виникаса. Окно моей комнатки выходило на улицу. Утром кто-то сказал, что на железнодорожном вокзале полно русских солдат. Мы с подругами пошли посмотреть. На полу вповалку лежали люди в шинелях серого цвета, как нам тогда показалось, пошитых из одеял.

Улицы были наводнены солдатами. Они громко пели и присвистывали в такт своим шагам. Кое-кто с балконов и из окон бросал цветы. «Неужели будет война?» — подумала я. Никогда прежде мне не доводилось видеть столько солдат и танков.

Папа сказал, что Советский Союз размещает на территории Литвы свои военные базы, и велел мне с младшим из моих братьев Римантасом немедленно отправляться в Ужпалай, на мамину родину, к дедушке и бабушке. Автобус шел очень медленно, потому что навстречу двигалась Красная Армия. Все было страшно интересно — среди солдат попадались черноволосые парни с узкими раскосыми глазами, какой они национальности, мы не знали, были и смуглолицые — таких раньше тоже видеть не приходилось. Автобус то и дело останав-

* Район Каунаса.

ливался, пропуская солдат и технику. Из стоявшего автобуса вышла молодая еврейка, увешанная золотыми украшениями. Солдаты всполошились: «Буржуйка, б....!» — но подошел старший и прикрикнул на них. Наконец мы добрались до Ужпаля. Автобус остановился возле дедушкиного дома: улица Басанавичюса, 30. Мы сошли. На дворе было много русских солдат. Бедняги невесть сколько протопали пешком. Одни лежали на лужайке, другие начищали трубы. Видимо, была команда войти в городок с музыкой. Несколько человек о чем-то расспрашивали дедушку. Мы с Римасом подошли и поздоровались.

— Как по-вашему «вода»?

— Ундуо, — ответил дедушка на местном наречии.

— Не ундуо, а вандуо, — поправили мы.

Из дома вышла бабушка. Мы обнялись. Она внимательно и озабоченно присматривалась к тому, что здесь происходит. Русского языка она совсем не знала, хотя в Первую мировую войну они бежали от фронта и жили в Смоленской губернии.

Послышалась команда строиться. Заиграл духовой оркестр. Солдаты ушли. В это время к дедушке подошел военный, судя по обмундированию — командир, и тихо попросил:

— Папаша, может, хлеба кусок удружишь?

— Мать, живо тащи буханку хлеба и шмат сала, — бросил он бабушке.

Бабушка мигом принесла. Дедушка протянул все это военному и сказал:

— Кушай на здоровье!

Военный перекрестился.

— Ты что, сынок, крестишься? У вас же в Бога не верят!

— У нас Бога нету и хлеба нету, — ответил военный, вскочил на лошадь, пришпорил ее и поскакал догонять пехоту.

Мы стояли ошарашенные. Каникулы были какие-то бестолковые, никто ничего не понимал, никто не знал, что происходит. На прощанье бабушка подарила мне домотканую скатерть и сказала:

— Помнишь, детка, когда я была осенью в Каунасе, какое красное небо было? Я говорила тогда, к войне это, перед той войной тоже небо красное было. Эту скатерть возьми на память, видать, снова войне быть. Может, больше и не свидимся. Будет память обо мне.

Я заплакала. Бабушкины слова оказались пророческими — больше я никогда ее не видела. Мы возвратились домой. Утром меня разбудило радио. Приятная мелодия. Что это играют?

— «Интернационал», наш новый гимн, разве ты не знаешь? — удивился Римантас. — У нас в Литве сменилась власть, с двадцать первого июля нас присоединили к Советскому Союзу!

«Так вот почему в городе было столько солдат! — подумала я. — Еще хорошо, что без войны обошлось». Папа объяснил, что главный теперь у нас, то есть в Советской Литве, Юстас Палецкис, отец Вильнюса и Сигиты, наших друзей, с которыми мы вместе играли. Раньше он частенько заходил к нам. Мы, дети, звали его Пушкиным — за бакенбарды и белые гольфы, которые он обычно носил. Я узнала также, что Вильнюс снова наш, он опять наша столица, город, который мы видели в мечтах, во сне, о котором слагали песни, возносили молитвы, из-за которого мы вечно дрались с нашими кузенами, приезжавшими из Варшавы.

Нас все интересовало. У входа в Департамент полиции появился постовой, русский солдатик. Магазины и аптеки охраняли старенькие сторожа с винтовками. Едва ли они смогли бы выстрелить, случись что. И от кого все это надо было охранять? В Литве, помнится, кроме карманных воришек и цыган, было три бандита: Рицкус да Бальсис с Казлаускасом. Рицкуса я сама видела в Гелгаудишкисе, когда гостила у тетки. Никто никого не гра-

бил — и в городе, и в лесу, и в деревне можно было гулять сколько душе угодно, опасаясь разве что бешеной собаки, змеи или ночного привидения.

Как-то раз, вернувшись с работы, папа рассказал, что в бывшей еврейской гимназии, в его классе, учится еврейский парень Лявушас, сын заводчика средней руки. Видимо, для того, чтобы спасти родителей, он вступил в комсомол и на уроках рисования без конца что-то пишет, а когда учитель просит показать свой рисунок, он демонстративно приносит чистый лист бумаги. Получив заслуженный кол, Лявушас сказал папе:

— Что ж, господин Бичюнас, за эти колы мы с вами еще сочтемся!

Как-то раз, когда все были на работе, а мы с Римантасом делали уроки, в дверь позвонили. Вошел молодой еврейчик. На вопрос, что ему надо, он сказал, что составляет списки на получение новых — советских — паспортов. Мы все продиктовали. Понадобились и данные Римантаса, но он сказал, что у него уже есть советский паспорт, и вышел из комнаты. Еврейчик растерялся, еще какое-то время посидел и ушел.

В один из дней папа сказал:

— Дети, если у вас есть что-то запрещенное, уничтожьте, потому что сейчас такое время, что всего можно ожидать. Если у нас будет обыск и найдут что-нибудь недозволенное, отвечать придется мне.

Сам он тоже просмотрел свои книги и корреспонденцию. А что же недозволенное могло быть у меня?! Я и не стала ничего просматривать.

В магазинах начали нормировать некоторые продукты. Сахара в одни руки давали только полкило. Кое-где уже и очереди появились. Люди шутили: «Поезд от нас идет, пыхтя «шкура-мануфактура», а к нам — тихо лепеча «спички-семечки».

Приехали офицерские жены. Странными казались нам их наряды: большинство одевалось во все серое — серыми были пальто, береты, чулки, туфли. Эти

женщины ходили на слонов. А некоторые, купив нарядные ночные сорочки с кружевами, считали, что это вечерние туалеты, и надевали их в театр. Офицерские дети быстро научились говорить по-литовски.

Мама через художника Тамошайтиса заказала мне национальный костюм, о котором я давно мечтала. Мамина подруга — еще по Воронежу — художница Винце Йонушкайте-Заунене подарила нам два янтарных ожерелья и фартук XVII века из своей коллекции, вернее, полфартука — вторую половину оставила себе.

Мама работала в Театре оперы и балета художником по костюмам. Вновь созданный Театр оперетты, для которого костюмы особенно важны, звал маму к себе, но Театр оперы и балета не отпускал. Тогда мама стала там работать по договору — опереточные костюмы рисовала дома, а мы с Римантасом помогали ей. Начали тоже что-то зарабатывать. Жили мы теперь лучше — работали все. Папа расплатился с долгами, которые образовались, пока он учреждал новые театры.

Приближались выпускные экзамены. Я мечтала о художественном училище.

В то время у нас жила Аугуте, племянница моей тети Заунене. Как-то раз, навестив тетю в Линксмадварисе, она сказала, что на окраине стоит много грузовиков и тетя боится, что собираются вывозить людей, как это было в Польше. Наши родители, как впоследствии рассказывала мама, терялись в догадках, что лучше сделать. Может, формально развестись? Тогда хоть семью не тронули бы. На работе мама спросила у художника Стяпаса Жукаса, не стоит ли спрятаться. «Не бойся, Наталка, советская власть людей искусства не трогает, если кого-то и станут вывозить, так только кулаков, фабрикантов и проституток», — ответил Жукас.

13 июня именины Антанаса. Вайдевутис был в гостях у своего друга и вернулся подвыпивший. Когда мама сказала, что хочет с ним поговорить, он ответил: «Отложим на завтра, сегодня голова плохо работает».

Сквозь сон я услышала звонок. Четыре часа утра. Я не особенно удивилась: уже не раз объявляли воздушную тревогу и постовой возле Департамента полиции, увидев в окнах свет, звонил к нам в дверь, а когда я открывала окно, говорил: «Девушка, воздушная тревога, погасите свет!» Поблагодарив, я тушила оставленный по ошибке свет. Улицы тогда освещались синими маскировочными лампами. Я и на этот раз подошла к окну. Солдатика не было, а возле наших дверей стоял грузовик. Позвонили снова. Я подошла к дверям и спросила:

— Кто там?

— Откройте! — громко потребовали по-русски.

Я открыла. Вошли двое в штатском и солдат с винтовкой. «Будут делать обыск, — но ведь у нас ничего недозволенного нет».

— Зажгите свет!

Я не поняла слова «зажгите» и подумала, что воздушная тревога.

— Нету свет, — ответила я.

— Свечки тоже нету?

— Тоже нету.

Тогда они сами зажгли в прихожей свет.

— Где хозяин?

Я открыла дверь в гостиную, где на своих кроватях преспокойно спали родители.

— Папа, тут вас спрашивают...

Папа сел. Ночные гости стояли, не снимая шапок.

— Одевайтесь, — сказал один из них по-литовски с польским акцентом.

— Войдя в дом, надо снять шапку, — сказал папа.

— Перед кем же это тут снимать?

Тогда папа указал на маленький портретик Сталина, который интереса ради повесили между картинами. Пришедшие поспешно сняли шапки. Мама попросила их выйти, чтобы она смогла одеться.

— Ничего, дамочка, еще не в таких условиях будешь одеваться и раздеваться.

— Ну, если вам не стыдно, ничего не поделаешь... —
И она оделась.

Я тоже оделась. Один из пришедших начал читать:

— Бичюнас Витаутас...

— Это я, — сказал папа.

— Бичюнене Наталия это, наверно, вы, дамочка? —
насмешливо спросил читавший.

— Вас, видимо, никто не учил вежливости! — сказа-
ла мама.

— Заткнись! — крикнул литовец. — Где Бичюнас
Вайдевутис?

— В своей комнате, — ответил папа.

Солдат вышел, но тут же вернулся. Что-то шепнул
литовцу, тот обернулся ко мне:

— Отведи, покажи, где брат.

«Боится», — подумала я, потому что из гостиной на-
до было пройти в переднюю, потом в прихожую, веду-
щую в кухню, ванную, туалет и еще одну прихожую, от-
куда двери вели в мамину комнату и в комнату братьев.
Я отвела солдата к братьям.

— Вайдевутис, вставай!

— Дай поспать.

— Тебя солдат ждет!

Вайдевутис вскочил, хмель как рукой сняло. Встал и
Римантас. Все вместе мы пошли в гостиную.

— Что происходит? — спросил Римантас.

— Не знаю, может, война и нас эвакуируют. Не
знаю, ничего не понимаю, — ответила я.

— Юрате Бичюнайте? — снова раздался каменный
голос.

— Я.

— Все собирайтесь.

— А как же я? — спросил Римантас.

Литовец стал искать его в списках и не обнаружил.
Подошел сам Римантас, заглянул в бумаги и воскликнул:

— Так вот на какие паспорта переписывал нас тот
еврейчик!

— Неужели это работа Лявушаса? — подивился папа.

Начался обыск. Нашли папин золотой скаутский значок, скаутскую свастику, которую он получил за создание организации воздушных скаутов.

— Вот оно! Фашистский знак! — закричал литовец.

— Идя по такому делу, могли бы научиться отличать скаутскую свастику от фашистского знака, — сказал папа.

Русский что-то громко зачитал, я ничего не поняла, мама только спросила, сколько вещей можно взять с собой.

— Пятьдесят килограммов на семью.

Я растерянно спросила:

— Мамочка, что случилось?

— Надевай на себя как можно больше! Понимаешь, детка, нас увозят из дома, и, наверное, придется заниматься физическим трудом.

— А как же Аугуте? — спросила я.

— Какая Аугуте? — насторожился литовец.

— Она не наша, она посторонняя, временно живет у нас, — объяснила мама.

— А как же я? — спросил Римантас.

— Тебя в списке нет.

— Я с семьей не разлучусь — поеду туда же, куда все.

Я поспешила в мамину мастерскую, где стоял платяной шкаф. В туалете сидел папа. Дверь нараспашку, а возле нее солдат с винтовкой...

Я стала одеваться. Натянула на себя четыре маркизовых платья, гимназическую форму, сверху белое летнее пальтишко, обулась в белые ботинки для коньков, синие гетры, надела шляпку.

— Надень шубу! — велела мама.

— Не лезет... — заплакала я.

— Накинь сверху!

Одевшись таким образом в середине лета, я должна была выглядеть смешно, а теперь мне представляется — жалко. Я хотела взять с собой альбом с фотографиями,

но солдат отнял его. Несколько маленьких фотографий мне все же удалось сунуть в карманчик, предназначенный для школьных шпаргалок. В небольшой чемодан я сложила две пары туфель, босоножки, национальный костюм с подаренной Заунене половиной фартука, дневник, красную сумочку, привезенную моей крестной — папиной сестрой Ниной Бразинскене — из Парижа, необыкновенный, разрисованный мамой зонтик от солнца, золотую цепочку с крестиком, подарок моей лучшей подруги Валюте Ладовой, и ею же подаренную брошь.

Братья надели костюмы, взяли рюкзаки с притороченными к ним шерстяными одеялами, через плечо повесили противогазы.

Когда нас выводили из дома, было уже девять часов.

— Как ваша фамилия? — спросил папа у того гэбэшника, который говорил с польским акцентом.

— Малинаускас, а что?

— Дети, запомните, все из-за них. Русские нас знать не знают, а продают людей вот эти.

Напротив наших дверей стояли хозяева дома. Гэбэшники погрузили в грузовик наши велосипеды, швейную машину. Оказывается, это их «заработок».

Аугуте плакала, провожая нас. Хозяин магазина принес нам копченый окорок, две баночки паштета и трехлитровый эмалированный бидончик с топленным маслом. Все махали руками и плакали. А мне было весело — ничего-то я, дурочка, еще не понимала. Я думала, что началась война и нас эвакуируют. На углу Аллеи Свободы и проспекта Витаутаса, как мы и договорились, меня поджидал мой приятель Альгирдас Клямка. Я помахала ему рукой и улыбнулась. Но ему совсем не было весело, он только испуганно смотрел на наш «карнавал»: на папе была перекрашенная в черный цвет скаутская форма, штаны подпоясаны ремнем, а пуговицы мама сложила ему в карман. В руках он держал этюдник и краски. Мы проехали мимо дома тети Дзюни — док-

тора Жаковичайте. Она стояла вместе с тетей Марите, обе плакали.

— Тетю Каму Вайткявичене увезли... — сказала мама.

Я поглядывала на небо — не летят ли самолеты?

— Мапочка, чего ты плачешь? Радуйся, нас везут, а других нет, нас эвакуируют, а они могут тут погибнуть.

— Дурочка, нас не эвакуируют, а увозят в Россию, и мы, возможно, никогда больше не увидим своей родины. Я заплакала:

— Как же так? Ведь вчера господин Жукас сказал, что советская власть людей искусства не трогает, что если будут вывозить, то кулаков, фабрикантов и проституток. Не волнуйся, наверное, произошло недоразумение и нас скоро вернут назад, мы же порядочные люди, да и богатства никакого у нас нет. Почему же нас увозят, а хозяин Виникас, у которого несколько домов, квартиры сдает втридорога, сам не работает и жена его тоже не работает, так их не тронули?

— Не бойтесь, дети, русский не немец, русские хорошие люди, в ту войну мы не пропали, Бог даст, и теперь не пропадем, — успокаивала мама.

Папа молчал, видимо, и сам не знал, как нам это объяснить. А мне становилось все обиднее.

Вдруг запахло землей — грузовик свернул на улочку, которая вела к товарной станции. Там стояло очень много товарных эшелонов. Грузовик остановился около открытого вагона, в котором уже было немало мужчин.

— Можете попрощаться, мужчины поедут в отдельных вагонах, неудобно вместе с женщинами, — приказал кто-то.

Я стала прощаться с братьями. Папа с этюдником в руках полез в вагон, мы хотели ему кое-что передать и проститься, но створки дверей с грохотом сомкнулись, а наш грузовик тронулся. Братья остались, а с папой нам даже попрощаться не дали. Нас подвезли к другому эшелону. Согнали в телячий вагон. На двухэтажных дощатых нарах сидели люди, прикрываясь простынями и одеяла-

ми. Мама стала просить, чтобы ей позволили хоть постельные принадлежности взять с собой, потому что у нас их совсем не было. В конце концов охранники разрешили ей на пять минут забежать домой. Видимо, грузовик ехал за другой семьей. Я попросила маму прихватить фотографии.

Сторож Куткаускас, которому родители оставили ключи от квартиры (он постоянно воровал дрова из нашего погреба), отпер дверь. Он рассказал, что прибежала мамина младшая сестра Оните — она раньше жила у нас — и так плакала, так плакала... Квартира имела ужасный вид, все разворочено, разбросано. Мама схватила простыни и стала заворачивать в них постельное белье. Открыла шкаф и побросала в простыни все, что попало под руку. Из буфета взяла столовые и чайные ложки, подаренный Суткусом серебряный половник, старые фотографии, даже не сложенные в альбом. Солдат считал минуты. Мама выбросила в окно узлы.

— Подпишите, что взяли бинокль! — приставал с каким-то листком Куткаускас.

Мама подписалась, не читая, только чтобы отвязался. Пять минут. Сторож-воришка снова запер дверь.

Приоткрылись створки вагона, и вкатились три узла. Мы вздохнули с облегчением — вернулась мама, да еще с таким богатством! Теперь и голову будет на что положить, и чем укрыться.

Люди плакали, вернее сказать — скулили, потому что никто не знал, что ждет впереди. Возле эшелона работали мужики, наверное, смазывали колеса. Они шепотом успокаивали нас:

— Не убивайтесь, вот-вот начнется война, точно начнется, может, вас и вывезти-то не успеют...

«Неужели то, что с нами стряслось, хуже войны?» — перепугалась я.

Солдат открыл двери и стал пересчитывать людей. «Откуда такой маленький ребенок?» — спросил он, указывая на куклу Ины Содайтите. Но никто не засмеялся,

а он сам, узнав, что это кукла, только и проронил удивленно: «Смотри ты!» Журналист Юозас Гудьюргис, не услышав при проверке своей фамилии, спросил:

— А почему меня нет?

Солдат, несколько раз пройдясь по всему списку, велел ему выходить из вагона.

— Выходите, бегите, — советовали ему люди.

— Как же я? А вещи?

И он остался. Разве мог он тогда понимать, что, пожалев вещи, подписал себе смертный приговор.

Вагоны дернулись. Словно гигантские цепи каторжника, лязгали и звякали они на стыках. Видимо, формировали эшелон. Наконец мы тронулись. Люди стали плакать. Рыдал весь поезд. Люди старались протиснуться к четырем крохотным, окованным железом оконцам и бросить, быть может, последний взгляд на милые сердцу уголки родины. Вдоль дорог, в полях стояли литовцы, плакали и махали нам руками. Ксендзы благословляли проезжающий эшелон.

Добрались до Вильнюса. Снова тронулись. Стало темно. Эшелон продвигался на восток медленно, тяжело пыхтя, словно не хотел отрывать нас от дома, родины, близких...

Вот уже и Белоруссия. Собираемся располагаться на ночь. Однако... нет уборной. Кто-то пожертвовал ведро, кто-то простыню, и около дверей отгородили закрытый уголок.

За нами был вагон с охранниками. В нашем вагоне у окна лежала молодая женщина Клейзене с дочуркой Илоной. Она была русской, дочерью одного из лучших каунасских портных, Дубошина, и, когда охранники спрашивали ее фамилию, отвечала: Дубошина-Клейза. Она хорошо говорила по-русски, и мы обращались за ее помощью, когда просили охранников выпустить кого-то по нужде.

— Пустите в уборную! — кричала она в оконце, когда эшелон останавливался.

— Не кричи так, некрасиво, а то еще засранцами обзовут, — пошутил как-то раз бывший полицейский Ауглис.

На остановках конвой отпирал двери и командовал:

— Пять человек под вагон, быстро!

Одни возвращались, шли другие. Присядем под вагоном, поднимем воротники, чтобы не видеть друг друга, и отправляем свою нужду. Однажды возвращается Римантас из-под вагона и говорит:

— В жизни не угадаете, с кем я встретился под вагоном! С тем парнем, что составлял списки. Я говорю ему: «Что, гад, под одним вагоном со мной срьшь? Не вышло, сволочь, спасти шкуру? Выходит, ты нас в один список, а они тебя — в другой!» Он ничего не ответил, быстро смылся, не доделав свое дело.

Мы потом узнали, что его фамилия действительно была Лявушас.

На одном полустанке охранник открыл двери и командовал:

— Приготовьте посуду для пищи из трех блюд!

Нашлось ведро, Содайтене дала большой чайник. К кастрюле привязали веревку, получилась такая ручка.

— Один человек за кипятком, два — за обедом!

Мы вышли втроем. Получили чайник кипятка, полкастрюли пшенной каши, политой прогорклым растительным маслом, и ливерную колбасу, которую теперь называют «собачьей радостью».

Многие не прикоснулись к этому «обеду», потому что у них были домашнее сало, колбаса, ветчина. Мама велела нам оставить окорок и паштет на черный день — неизвестно, что нас ждет... Проголодавшиеся люди кашу ели охотно, немало ее и нам досталось. Но к ливерной не притронулся никто.

Мимо нас на запад ехали эшелоны с военной техникой. Клейзене, лежавшая у оконца, бросала «собачью радость» на проезжающий эшелон. Охранники с интересом смотрели, чем это мы бомбардируем воинский состав.

Увидев, что колбасой, одни рассмеялись, а другие пригрозили:

— Будете еще собирать, что разбросаете!

Мы так не думали.

«Собачья радость» сопровождала нас всю дорогу, а кашу меняли — давали то перловую, то ячневую.

Проехали Волгу. Величавое течение ее вод произвело на нас сильное впечатление. А вот и Свердловск. Меня всегда посылали за обедом. Стоя в очереди возле столовой, я вдруг услышала, как из уст в уста передавалось слово «война». Мы вернулись в свой вагон в хорошем настроении — может, нас теперь вернут домой? Может, наш эшелон и сопровождающие его охранники на фронте нужны больше, чем здесь? Вдруг по вагонам разнеслась весть: «Мужчин везут!» Мы стояли на месте, а мимо нас медленно проплывали вагоны с мужчинами. Издалека выкрикивали фамилии едущих, и жены и дети протискивались к обитым железом оконцам, чтобы увидеть своего мужа, отца, сына, брата... Вдруг до нас донеслось: Витаутас Бичюнас... Нас пустили к окошку. Оба состава гудели, как гигантские пчелиные ульи, ничего невозможно было разобрать, женщины сквозь рыдания что-то кричали, дети плакали.

— Берегите Юрате! — услышали мы папин голос и увидели часть его лица в окошке, к которому прижимались и другие мужчины.

— Как ты? Здоров? Куда вас везут? — кричала мама, но вагон уже тронулся...

Это была последняя встреча — больше мы отца не видели, ни живого, ни мертвого.

Когда отъезжали от Свердловска, услышали взрывы, думали, что это бомбежка и что война уже докатилась досюда, но оказалось, что это взрывают горы. Люди снова успокоились. Делать было абсолютно нечего, поэтому женщины, в сумочках которых сохранились заколки для волос, усадив меня на ведро, каждый день делали мне новую прическу. Зеркальца не было ни у кого, и полю-

боваться на себя я могла, только когда ходила за обедом, — в каком-нибудь пыльном оконном стекле.

Русские часто провожали нас криками: «Фашисты, фашисты!» — а стоило эшелону остановиться, собирали в кастрюли кашу и несъедобную «собачью радость», кроторые мы выбрасывали. Нас охватывал ужас: война только началась, тут спокойно, а местные люди нищенствуют...

На остановках уже разрешали добежать до кустиков. А иногда, раскрыв двери, охранники командовали: «Прогулка!» Из всех вагонов высыпали люди. Иду я как-то раз вдоль состава, смотрю — учитель химии Андрюкайтис, хоть и заросший весь, но взгляд тот же и все те же сросшиеся черные брови. В гимназии я была влюблена в него. Во время выпускных экзаменов он пригласил к себе домой меня и Салюте Юрйонайте, чтобы мы потихоньку исправили ошибки в задачах по тригонометрии у тех, кому грозили двойки. Разглядывая семейные фотографии учителя, я сунула парочку в кармашек, предназначенный для шпаргалок. Мы переписали неправильно решенные задачи ученическим почерком.

— Понимаете, девочки, время такое беспокойное, ваш класс — последний, систему образования реформируют. Кто плохо решает задачки, из того все равно математика не выйдет, и тригонометрия ему никогда больше не понадобится. Так зачем же из-за этого оставлять его на второй год?! Пусть идет тем путем, который выбрал, — сказал нам учитель Андрюкайтис.

Вернувшись тогда домой, я просмотрела похищенные фотографии и ножницами всюду отрезала его жену. Когда за нами пришли, эти фотографии лежали в альбоме, я не рискнула приклеить их, а то не могла бы никому показать альбом. Так что они снова оказались в том же самом кармашке для шпаргалок вместе с другими. И вот теперь, увидев его в вагоне, я крикнула:

— Здравствуйте, господин учитель!

— О, Юрате, здравствуй! Как же это мы вместе тут оказались? Ведь вас раньше взяли, а меня прямо с экзамена затолкали в вагон, где уже сидели жена с детьми...

— Так, может, вы и фотографий с собой не захватили?

— Не до них было!

— А у меня есть парочка ваших, только они маленькие!

— Откуда же?

— Утащила, когда у вас дома была...

— Ого! Не дашь ли мне одну?

— Могу хоть все отдать, себе одну оставлю, но я же-ну вашу отрезала.

— Ну и шалунья! — сказал учитель и рассмеялся.

Я принесла ему все, за исключением одной совсем маленькой, которую наклеила на красивый круглый камушек, найденный под вагоном.

Время тянулось очень медленно. С какого-то момента вагонные двери стали оставлять открытыми и во время движения поезда. Я подолгу сидела, свесив ноги. Мимо проплывали красивые виды. Вот уже остались позади Уральские горы, потянулись болота, тайга, проехали огромный новосибирский вокзал, а нашему пути, казалось, не было конца...

И вот наконец раздалась команда: «Выгружайся! Приехали!» Это был Барнаул. Мы собрали свой скарб и погрузились в грузовики, которые доставили нас в пустую, запущенную церковь, полную пауков и летучих мышей. Сложили там свои узлы и вышли размять затекшие ноги. Приехала повозка с хлебом, который можно было купить, кто сколько хотел. Купили не все, хотя хлеб был мягкий, пышный, испеченный в больших круглых формах. Тогда мы еще не знали ему цены. Вечером с Гедре Кальненайте пошли в парк. Неожиданно слышали чудесные звуки скрипки. Это играл Альгис Сташнянис.

В барнаульской церкви мы жили почти целую неделю. Все время гуляли, словно птицы, выпущенные из

клетки. Мир снова казался просторным и прекрасным. Молодежь собиралась компаниями, завязывались знакомства. Но вот поступила команда готовиться к отъезду. Мы погрузили свои пожитки в грузовики, и нас привезли на пристань. Парохода еще не было, ночевать пришлось под открытым небом, спали прямо на земле. У забора мы заметили не то кусты, не то какие-то кочки. Пригляделись, а они шевелятся! Это были евреи. Страшно худые, скрюченные, с опущенными носами и острыми подбородками, в каких-то жалких обносках. Да, это были оставшиеся в живых польские евреи, которых теперь везли в какую-то английскую колонию. Нас охватил ужас: если за год или полтора они превратились в призраков — а ведь войны еще не было, — то что же ждет нас!

Наутро пришел пароход. Поплыли по Оби. Скоро нас снова высадили. Город назывался Камень-на-Оби. Еще одну холодную ночь пришлось провести под открытым небом, а потом наконец у нас появилась крыша над головой. Это была единственная в Камне обсаженная деревьями постройка — раньше здесь жил местный священник, а теперь его дом скорее походил на жалкий барак. Постелили прямо на полу. Пришли несколько живущих по соседству женщин, наши принялись расспрашивать их, чем занимаются здешние жители. Мы узнали, что в бывшей церкви находится спиртозавод. Мама спросила, не возьмется ли кто-нибудь постирать наше белье. В вагоне-магазине, который ехал с нами от самой Литвы, мы купили несколько кусков мыла, но стирать было негде. «Сколько заплатите?» Порывшись по карманам, мы наскребли рублей сто. Одна сразу вызвалась. Мама дала этой прачке две простыни, два пододеяльника, четыре наволочки, три или четыре полотенца, две ночных сорочки, две мужских рубашки. Женщина стирает это по сей день. Мама даже не спросила, где она живет, та обещала: через два дня все принесет, да и возьмет

недорого. Мы ей еще и мыло дали. Настоящее мыло, а в Камне женщины уже давно стирали на речке илом.

— Что стало с русскими?! Кто их так испортил?

Мама огорчалась из-за этого еще больше, чем из-за пропавшего белья. Может, дело в том, что это Сибирь, куда при царе ссылали воров да убийц, а эта воровка — из их потомков?..

Снова приехала двухколесная тележка с хлебом. Продавщица сообщила, что теперь на человека полагается 450 граммов хлеба. «Кто же может за день съесть столько хлеба?» — удивлялись мы. Раньше на семью из шести человек мы покупали килограмм в день. Мы еще не понимали, что нам предстоит питаться одним хлебом: ни масла, ни сахара, ни крупы, ни мяса — ничего этого у нас больше не будет.

В нашем бараке жила женщина с маленькими детьми и братом, ненормальным от рождения. Дома за ним присматривала старушка мать. Когда в Сибирь увозили сестру, прихватили и брата, который не разговаривал, а только мычал и носил то ли халат, то ли платье, потому что все делал под себя. Как умоляла несчастная мать, чтобы увезли и ее! Не увезли, оставили дома. Малые дети в бараке боялись безумца, и его заперли в кладовке. Пару недель он выл по ночам от холода, пока в конце концов не замолчал навсегда... Там же поселили и старика Сметону, брата бывшего президента, с женой, и трех дочурок бывшего главнокомандующего литовской армии Раштикиса: старшую Лаймуте, ее младшую сестру Мейлуте, у которой была больная ножка, и самую маленькую Алдуте, которая, лежа в коляске, сказала свое первое слово «ма-ма» и... умерла. Ее хоронили все ссыльные литовцы.

Я страшно соскучилась по сладкому и, зная, что у нас есть сколько-то денег, попросила у мамы разрешения купить хоть несколько конфеток. Мама разрешила, если только не будет очень дорого. И мы с Гедре отправились в магазин, предварительно узнав у мамы, как по-русски попросить у продавщицы конфеты. Всю дорогу в

город, боясь забыть нужные слова, мы повторяли: «Пажалста, дайте мне конфет». Свернули на улочку, сплошь усыпанную шелухой от семечек. Ноги скользили по ней, было непривычно и интересно. Вспомнились мамины рассказы о русских — в ту войну она жила в России. Мама любила рассказывать, как молодые флиртывали, лузгая семечки, шелуху выплевывали друг другу в лицо и шумно веселились при этом. Странными казались нам и дома, огороженные высокими бревенчатыми заборами с огромными воротами, и перед каждым домом — врытая в землю скамейка. Во дворах высились груды темных кирпичей — уже потом я узнала, что это сушеный навоз, которым топят печку, и называются эти «кирпичи» кизяками. Улицы немощеные, а вместо тротуаров — уложенные на бревна доски, кое-где прибитые гвоздями, поэтому, наступив на один конец, другим можно было получить по лбу. Но вот наконец и магазин. Мы обратились к продавщице с заученной фразой:

— Пажалста, дайте мне конфет!

— Нету, — ответила она.

— А где? — спросила я.

— На базаре выбрасывают иногда, — объяснила продавщица.

На обратном пути мы бесконечно повторяли этот таинственный ответ: «набазаревыбрасываютиногда». Придя домой, я первым делом спросила у мамы, что это значит.

Мама объяснила нам по-литовски.

— Но почему выбрасывают? Может, испорченные? — не поняла и мама.

Но скоро зашла наша здешняя знакомая и объяснила, что в базарном киоске иногда продают конфеты. На другой день мама собралась на базар и взяла меня с собой — а вдруг «выбросят» конфеты? Только как найти этот базар? Тут мы заметили быстро идущую пожилую женщину. Спросили у нее, и оказалось, что она как раз идет в том же направлении. Идем, они разговаривают

между собой, только я ничего не понимаю. Мама потом пересказала мне их беседу.

— Бабушка, сколько вам лет? — спросила мама.

— Сорок пять, доченька.

— А мне сорок четыре... — растерялась мама.

— А-а-а, доченька, пережила бы ты с мое, и ты такая же была бы, — ответила женщина и, показав, где базар, свернула на другую улицу.

Вот мы и пришли. Был будний день, киоски оказались закрытыми, только за столами было несколько женщин, торговавших картошкой. Продавали кучками. Мама спросила, сколько стоит кучка.

— Пять рублей.

Мама схватилась за голову. Домой мы возвращались уже знакомым путем. Из школы высыпали дети. Увидев нас, они побежали следом, крича: «Цирк приехал, цирк приехал!» Где же этот цирк? Кроме их и нас, на улице никого не было. Все прояснилось позже. Дело в том, что все женщины носили тут серые выцветшие юбки, лапти и белые ситцевые блузки. Модницы вышивали на блузках васильки. А парень, у которого были спортивные тапки и велосипед, пользовался вниманием всех девушек. Поэтому дети, увидев нас в пестрых платьях и боножках, решили, что это приехал цирк.

По дороге мы заглянули в магазин. На полках красовались банки с крабами, трехлитровые жестяные банки гороха со свиной, бутылки шампанского, был здесь и пышный пшеничный хлеб.

— Дайте килограмм хлеба, — попросила мама.

— Карточку, — протянула руку продавщица.

— Что? — не поняла мама.

— Карточку давайте! — повторила продавщица.

— Какую? Фотографическую?

— Ты что? С неба свалилась? Зачем мне твоя фотокарточка? Я и так тебя вижу. Хлебную карточку давай. По-русски разговаривает, а порядка не знает.

Мама объяснила, что мы только несколько дней как приехали.

— Будешь работать, получишь вот такую карточку. — Стоявшая рядом женщина показала какую-то бумажку. — Вот и купишь хлеба, сколько тебе будет положено.

Мы были потрясены.

Однажды на телеге приехала женщина невысокого роста и спросила, кто умеет шить.

— Я и моя дочь, — сказала мама.

Женщина велела всем построиться. «Ты, ты, ты и ты поедете ко мне на работу», — ткнула она пальцем. Мне это напомнило торговлю рабами из «Хижина дяди Тома». Потом она указала, куда завтра явиться, и отбыла.

Утром мы собрались на работу. С нами шла и Бируте Нашлюнене. Адвокат Нашлюнас бежал за границу, а ее вывезли как жену, хотя они были в разводе, но у нее оставалась его фамилия. Она была фармацевтом, кстати, дочерью провизора Матулайтиса. Нашлюнасы были давними знакомыми моих родителей, а теперь мама говорила, что они сестры, чтобы их не разлучали. Бируте была веселой женщиной и всегда поднимала нам настроение.

Мы представились той самой женщине, как выяснилось, директору, которую мы между собой называли Вошью. Нам с мамой дали шить те серые юбки, которые носили, видимо, не только в Камне, но и по всей России. Закончив юбку, мы старательно пришили крючок и петельку. К нам подошла местная русская и сказала, что при такой работе мы ровным счетом ничего не заработаем, что крючки надо пришивать на живую нитку — кто купит, тот и пришьет как надо. Странным показалось нам ее замечание. Братья и еще один еврей грузили лоскуты на складе. Мама сразу предложила шить из обрезков сумки, потому что люди носили продукты, даже не заворачивая их, просто в руках. «Хоть в сумку продукты сложат, — объяснила мама директору. — А еще можно матрасы шить». — «Умница», — похвалила директор.

Шли дни, мы шили юбки, сумки и матрасы. В обеденный перерыв шли в столовую, где можно было купить рассольник и галушки. Сначала нам давали ложки, вилки и даже ножи. Потом поняли, видимо, кто мы такие, и мы стали есть, как все: жидкое выпивали прямо из миски, а гушу цепляли кто чем — ключом, карандашом, а то и гвоздем. Потом пропали галушки. Из магазина исчезли крабы, горох со свиной и шампанское. Остался хлеб, семьсот граммов в день — по карточке, полученной в швейной мастерской. Как-то раз, в воскресенье, мы пошли на базар. Там жизнь была ключом. Найти можно было все, чего только душа ни пожелает, даже одежду: начиная с лаптей и кончая шубами.

— Почем масло? — спросила мама.

— На вещи, на одежду.

Мы стояли в недоумении, что бы это могло значить.

— На вещи меняю, поняла? — пояснила продавщица.

— А если за деньги?

— Триста.

— Но мне нужен один килограмм! Сколько стоит килограмм?

— Да я же говорю — триста рублей! А ты что, думаешь, я тоннами продаю?!

За две отработанные недели мы получили по пятьдесят рублей. Интересас ради мама еще спросила, сколько стоит кубометр дров. Шестьсот рублей. Мы продолжали ходить по базару совершенно ошарашенные. По дороге домой нам встретились детишки, которых вела, видимо, детсадовская воспитательница. Глаза у них были красные и гноились — все болели трахомой.

На работе дела шли неплохо. Женщины не уставали спрашивать, как мы жили раньше. Мама рассказывала, а они все удивлялись, потому что о буржуазных странах слышали только плохое. По нашему виду они понимали, что мы говорим правду. Директор предупредила маму, чтобы не болтала лишнего. Но мама не понимала

ее — она ведь не болтала, а просто честно отвечала на вопросы.

Днем в бараке оставались старики и дети. Все остальные были на работе. В это время в наше жилье проникали всякие бродяги, и постоянно что-то пропадало. В милиции нам сказали обращаться к ним, если будет нужда в чем-то или если нас станут обижать. Мама пошла и пожаловалась, что местные жительницы нас обворовывают, и еще спросила, когда мы наконец получим постоянную крышу над головой. Через пару дней директор сообщила, что наша семья может переселиться в Дом колхозника. Приехал литовец, бывший полицейский, на быках. Он помог погрузить вещи, покормил быков и запел: «Наши танки быстры, идут хорошо, что назад немножко, это ничего!»

Мы подъехали к довольно большому дому, в котором оказалось пять комнат и кухня. Одну из комнат занимала семья сторожа. Нам отвели две комнаты. В одной обосновались братья, в другой — мы с Бируте Нашлюрене. Я вышла из дома, села на порог. Неожиданно подбежала девочка моего возраста с большим букетом крупных разноцветных махровых маков: «Это тебе!» От радости я расплакалась. Здесь, в Сибири, где большинство смотрит на нас как на преступников, нашлась такая добрая девочка. Я поблагодарила, но говорить по-русски тогда еще почти совсем не умела. «Как тебя зовут?» — спросила она. «Юрате. А тебя?» — «Валя». Я свела ее к маме. Мама поговорила с ней, подарила треугольный белый лоскут — косынку, пригласила почаще заходить. Ее отец и брат уже были на фронте.

После работы, присев на порог, я обычно смотрела на запад и, глотая слезы, напевала «Литва дорогая, моя отчизна». На другом крыльце, неподалеку, сидела Валя и, тоже глядя на запад, звонким русским голосом пела: «Любимый город может спать спокойно». Иногда она заходила к нам, и мы валялись на нарах с мягкими душистыми сенниками: «за рационализацию» директор разре-

шила маме сшить огромные мешки, которые мы набили сеном, и теперь у нас были замечательные постели. Мама много рассказывала по-русски, я спрашивала, чего не понимала, а если что-то неправильно говорила, она поправляла меня. Так я училась русскому языку.

Мы узнали, что на берегу Оби есть баня, и стали каждую неделю ходить туда мыться. Когда открывали кран с холодной водой, то нередко с ней влетали живые рыбешки, а горячая была прямо-таки настоящей ухой: посоли и хлебай. Видимо, очень мощные насосы работали.

Жить в том доме было бы совсем хорошо, если бы не изводили клопы. Очень скоро запачкались все стены, а чтобы не было так видно, мы с Римантасом стали рисовать. Акварельные краски и шетинные кисточки купили в магазине канцтоваров. Римантас нарисовал на стене своей комнаты великих князей Литовских, а над окнами и под ними — литовские замки. Я украсила нашу, женскую, комнату — нарисовала Бируте, а вокруг окон и в ногах нашего душистого ложа — гирлянды цветов. Это было осенью 1941 года. А весной 1956 года, когда мы, вернувшись с Севера, жили в Бийске, товарищи по работе рассказали моему мужу, что в Камне-на-Оби есть интересный дом. Мы съездили в Камень, и нам показали Дом колхозника. В наших комнатах жила теперь сторожиха с сыном Мишей, стены были свежeweыбелены, а мои с Римантасом рисунки сохранили нетронутыми...

Сторож стал просить, чтобы я нарисовала их рахитичного сыночка Гену. Мальчика я изобразила довольно удачно, в нескольких позах. Этот бедняжка обычно носил только короткую безрукавку, не прикрывающую даже пупа. Ножки выгнуты дугой. Другие маленькие дети в Камне если и носили штанишки, то с такими разрезами спереди и сзади, чтобы в случае чего не испачкать одежду. Помню, привезли как-то раз колхозники арбузы, видимо на продажу. Большие, спелые. Сложили в кладовке и заперли дверь на замок. А над

дверью одна доска была выломана. Миша, сын сторожи от первого мужа, говорит Римантасу: «Дядя, подсади!» Мы не поняли, чего он хочет, тогда он показал, чтобы Римантас поставил его себе на плечи. Римантас выполнил просьбу. Миша вытаскивал один арбуз за другим и передавал мне. Потом мы сели в кухне за стол, Гена влез на стол, Миша нарезает арбузы, а мы уплетаем за обе щеки, да так, что за ушами трещит. Гена все тянет пальчики и просит «дай», съедает и снова «дай». Стол был с наклоном, и у Гены из краника переваренный арбузный сок тонкой струйкой стекал на пол. Скоро и мы, наевшись досыта, стали то и дело выбегать во двор. Мы и не поняли, что это была наша первая кража.

Сторожа призвали на войну. «Береги Гену, если с ним что случится, не жди обратно», — пригрозил он жене и, прихватив с собой нарисованные мною портреты сына, уехал. Осталась хозяйка с двумя малыми детьми и коровой Машей. Однажды Гена опрокинул на себя кипящий самовар. Помучился, помучился, да и помер. Скоро несчастная женщина получила похоронку на мужа.

Как-то раз, в воскресенье, мы встретили на базаре двух женщин, которых никогда прежде в Камне не видели. Они сказали, что приехали из Барнаула. Между собой они разговаривали по-литовски, и мы стали их расспрашивать, кого еще из литовцев они знают в Барнауле. Выяснилось, что туда привезли Веруте Виленишкене, дочь маминого брата Антанаса Намикаса, с маленьким сыночком Юргинасом, как мы его звали, хотя его настоящее имя было Юргис. Второй сын, Гинтарас, там умер. Мужа Веруте, врача Юргиса Виленишкиса, разлучили с семьей и увезли в лагерь. В Камне-на-Оби жил его брат Йонас. Только он мог просить, чтобы Веруте разрешили перебраться в Камень, потому что мы не могли доказать свое родство с ней. Просьбу Йонаса удовлетворили, и Веруте с Юргинасом поселились с семьей Йонаса Виле-

нишкиса. Никаких документов у нас не было, только заменяющие паспорта справки, в которых было указано, что они выданы такому-то спецпереселенцу вместо паспорта, что этот спецпереселенец не имеет права покинуть указанное место и раз в месяц должен отмечаться в комендатуре. Там на каждого была заведена карточка с фотографией. Пошли мы раз отмечаться, и одновременно туда пришла пожилая литовка по фамилии Лейкуте. Комендант спрашивает:

— Как твоя фамилия?

— Моя фамилия Лейкуте, — отвечает она по-литовски.

— Лей-ку-ве-не? — уточняет он, перебирая карточки.

— Да нет, господин хороший, я же сказала — Лейкуте, надо же быть таким дурным, Лейкувене — это же жена моего брата.

— Жена брата? — уловил он родственные русским словам корни.

— Ну вот, наконец-то понял!

— Но это твоя фотокарточка?

— Нет, это карточка жены моего брата, а меня ищи дальше.

— Дальше? Может, это твоя?

— А вот это моя.

Один не знал литовского, другая — русского, но все-таки договорились.

В комендатуре мы встречались и с другими литовцами. Как-то раз мы заметили, что давно не видно Коцинене и Валёнене. Поговаривали, что они сбежали в Литву. Но как убежишь без русского языка?! Но кто-то вспомнил, что Коцинене по национальности русская, а замуж вышла за литовского еврея, хозяина ювелирного магазина.

Приехала Веруте и рассказала, как в Барнауле хоронили одинокого литовца-инженера, фамилии она не помнила. Явился, говорит, комендант — представитель

властей, привез деревянное корыто. Уложили тело, сверху постелили доску, только никак прибить не удастся, втискивают, втискивают покойника, но тот все вылезает. Решили выбросить опилки. Пока переворачивали труп, у покойника раскрылся рот и блеснули золотые зубы. Заметив их, комендант крикнул: «Золото в землю? Никогда. Это государственная собственность!» Принес щипцы, выдернул золотые зубы, ссыпал в свой карман. Снова уложил доску, сел на нее верхом, чтобы не упала, и увез закапывать. Не забыл вернуться за вещами умершего. Собирая их, не уставал повторять: «Именем закона беру, именем закона увожу!» Никто не решился возразить представителю власти.

Мы снимали у цыган маленький домик из комнатухи и кухоньки на Тобольской улице. Приехала директриса и велела нашей семье садиться на подводу. Мы сели и едем, свесив ноги, не зная куда и зачем. Подъехали к кирпичному заводу. Вошь пошла в контору, а вернувшись, говорит:

— Пошли, теперь будете работать здесь!

— Но мы не хотим!

— Хотите, не хотите, никто вас не спрашивает, такое мое решение, тут место исправительных работ. Не держали язык за зубами — поработаете бесплатно, будете знать. Станете болтать — в тюрьму посадим! — Стегнула кнутом лошадь и укатила.

В администрации кирпичного завода нам объяснили: будем делать, что прикажет бригадир. Платить ничего не будут, получим хлебную норму, миску похлебки и соли по потребности. Бригадирша отвела нас к печам, в которых обжигали кирпичи. Их надо было вытаскивать из печей, увозить на тачке и складывать штабелями. Одни вытаскивали, другие увозили, третьи складывали. Мне пришлось руками вытаскивать горячие кирпичи из печи. Выдали пару рукавиц на месяц, порвались они в первый же день. На руках появились раны, лечить которые было некому и нечем. Там же работали два поляка:

Ковальский — бывший военный и Слонский — бывший писатель. Они уже знали, что их скоро отпустят домой. Ковальский, которого мы называли раввином за то, что он весь зарос и носил какой-то странный балахон до самой земли, почти совсем не работал. Являлся на работу вовремя, садился, опираясь на штабель кирпичей, и дремал на солнышке. Мама сделала ему замечание, потому что он входил в нашу бригаду, а он флегматично ответил: «Если я хоть пальцем шевельну на пользу советской власти, то буду считать, что совершил преступление». Штабеля кирпичей принимала бригадирша. Принятый штабель она помечала, ставя на него кирпич. Ковальский снимал с нескольких штабелей поставленный ею кирпич и, позвав ее, выдавал за свою работу. Поляки предложили маме и Нашлюнене оформить с ними фиктивный брак, чтобы увести их из этого ада. Но мама отказалась, опасаясь, что нас, детей, в этой ситуации, скорее всего, не отпустят.

В деревнях остались только женщины, дети и старики. На помощь колхозникам привозили горожан. Уехал Вайдеутис, пришлось ехать и нам с Римантасом, правда в другой колхоз. Мы взяли с собой спальный мешок, сшитый из одеял обоих братьев. В колхозе нас сразу же потрясла такая сцена: в столовой, поставив перед собой пустую миску, сидел старик и ждал своей очереди возле окошка, где разливали суп. К нему подбежал молодой парень и хват миску у старика из-под носа. Бедняга от неожиданности ахнул и стал просить, чтобы тот вернул ему миску.

— Зачем тебе, старик, похлебка?! Ты все равно скородохнешь, а у меня все впереди! — кричал парень.

Нас охватил ужас — такое неуважение к старому человеку! Парень тем временем протиснулся к окошку, ему уже налили супу и дали кусок хлеба. Римантас не выдержал и подошел к наглецу. «Отдай старику», — строго сказал он. Парень еще ухмылялся, но Римантас повторил то же самое, и тот, испугавшись, видимо, рослого, креп-

кого противника, вернул старику миску с супом и хлеб. «Проклятый фашист!» — процедил он сквозь зубы и смылся. Старик поблагодарил Римантаса, снял шапку, перекрестился и стал есть.

Мне дали лошадь с телегой, Римантасу — вилы и велели ехать вслед за другими вывозить пшеницу с поля. Римантас нагрузил телегу, а я стала понукать лошадь: «Но-о-о!» Та оглянулась, посмотрела на телегу и ни с места. «Может, бедняге не под силу?» — подумала я, увидев, что шерсти на спине у нее совсем нет, а из-под толстого слоя коросты сочится гной. Лошади, как и люди, были на фронте. В тылу остались только слепые, хромые да хворые. Еще раньше я заметила, что русские всегда матерятся, понукая лошадь. Попробовала выругаться и я: «Но-о!!! Редиска и капуста!» Лошадь дернула, телега тронулась с места. Пшеничные колосья были желтые, крупные. Маленькие дети шли по полю, по двое волоча сумку, и складывали в нее оставшиеся на земле колоски. Дорого, очень дорого было тогда каждое зернышко. И мы уже знали цену хлебу. Вспомнилось, как папа говаривал: «Хлеб — это все. Куском хлеба можно миром управлять». Нам его слова казались в ту пору смешными. Папа умел ценить хлеб: когда он учился в Петрограде, была революция, голод и он ходил за четырнадцать километров к какому-то ксендзу есть суп.

Наконец нас отпустили домой. Заработанное — по пять килограммов зерна — получим в Камне. Устроились мы с Римантасом на зерне, едем и мечтаем: как хорошо было бы привезти зерно хотя бы в карманах! Знали бы, прихватили бы с собой мешочек, насыпали туда зерна, да и выбросили бы по дороге, а потом пришли бы и подобрали, не так уж это и далеко. Смололи бы, кашу сварили. Может, в карманы штанов насыпать? Хоть бы чуть-чуть. Или в штаны — у них внизу резинки. Но лучше ничего не брать: поймают — тогда тюрьма. И мама не порадовалась бы краденому зерну. Да и других обижать не хотелось, тех, кому еще хуже, чем нам, вон их теперь

сколько. Перед глазами стояли истощенные, замотанные в лохмотья дети с большими сумками... Лошадь едва плелась, старая небось. Ей тоже было тяжело. Возница остановил ее — пускай отдохнет.

— А вы, ребята, ступайте нарвите подсолнухов, семечками угоститесь, — сказал он нам.

Сколько хватал глаз, тянулось поле еще цветущих подсолнухов. Сломали несколько головок с крупными, жирными зернами. Снова тронулись. Мы лузгали семечки, и дорога казалась короче. На горизонте показалась пожарная каланча нашего Камня. Иногда мы спрыгивали с телеги, чтобы лошади было полегче. Возница был старым, молчаливым человеком. Он знал, что мы почти совсем не знаем русского, потому, может, и не заговаривал с нами. До города было уже рукой подать, а пункт приема зерна был за городом, и мы сказали, что сойдем здесь. Возница обернулся к нам:

— Зерна не взяли?

— Нет, получим в городе, — ответил Римантас.

— Честные люди! — сказал колхозник и снял шапку.

Вернувшись домой, мы рассказали обо всем маме. Она похвалила нас:

— Хоть нам и очень трудно приходится, но поступили вы правильно. Чем хуже другие, у которых нет возможности зачерпнуть зерна? Может, эти несколько не взятых вами горстей спасут кого-то от голодной смерти.

Было отраднo сознавать, что мы не поддались соблазну. Все вокруг жили очень бедно. Вон соседка Галайдина рассказывала, что этой зимой в сорока километрах от Камня, в колхозе, где жила ее сестра, был голод. Колхоз не выполнил план, и пришлось весь собранный урожай отдать государству. Себе ничего нельзя было оставить. «Услыхала я от людей, что в том колхозе, где живет моя сестра с семьей, голодают. Хоть я и сама с тремя детьми без мужа третий год мучаюсь, но засушила сухарей, завернула в платочек и пошла сестру спасать. Иду по деревне, а на душе кошки скребут — тихо, как на

кладбище, ни собачьего лая, ни человеческого голоса не доносится. Отворила дверь сестрино дома — сидит за столом зять, распухший, будто отъевшийся, а на печке трое детишек, как тени, — пальчики в рот засунули, собственную кровушку сосут. Я едва на ногах удержалась — не думала такую страшную картину увидеть. «Какая ты красивая, какая жирная», — просипел зять и пошел на меня. Я легонько толкнула его, он упал, детишки что-то мычат, тянут ко мне свои обгрызанные, окровавленные пальчики. «Где моя сестра?» — кричу. «Померла, мы ее уже съели». Бросила я сухари на стол и выбежала. Потом уже узнала, что все они померли: зять сухарей объелся, а дети — от голода. Не могла я тех детишек к себе взять, у самой в доме три голодных рта ждали...»

У Галайдиной было трое маленьких детей — Ваня, Коля и Маша, которую мы звали Марите. Заходили эти детишки к нам и удивленно разглядывали нас и наши вещи. Когда я раскрыла зонтик, дети испуганно отскочили, а когда объяснила, зачем он нужен, то они стали то и дело просить: «Тетя, дайте зонтик поносить!» Раскрывали его и по очереди ходили с ним вокруг дома. Однажды я вытащила свою красную сумочку, чтобы полюбоваться на нее. У Маши аж дух захватило, она выпучила глаза, схватила ее и поцеловала. «Господи, как красиво, Господи, в жизни такой красоты не видела!» — лепетала девочка. «Когда поеду в Литву, подарю эту сумочку тебе», — пообещала я. Маша с недоверием смотрела то на маму, то на меня. Моя мама стояла, улыбаясь, возле печки и серебряным половником помешивала щи.

Больше я не могла работать на кирпичном заводе, в локтях руки не разгибались. Меня взяли в больницу, наложили гипс и стянули локти бинтами. Руки в конце концов распрямились. Со мной вместе лежала одна веселая старушка. Как-то раз русская женщина, приехавшая навестить свою больную дочь, угостила старушку привезенными из Алма-Аты яблоками. Та, откусив кусочек, восхитилась: «Господи, какой же вкусный помидор!

В жизни таких не ела!» В Алтайском крае в самом деле не было ни одной яблони. Берега Оби поросли кустами смородины и облепихи. Нас удивляло, что местные жители переплывают на другой берег реки и собирают там ягоды, вместо того чтобы привезти саженцы смородины и посадить их вдоль всех заборов. Удивляло и то, что они месят ногами грязь, но улицы не мостят, даже перед своим домом, хотя кругом полно камней.

После моего возвращения из больницы мама попросила директора, чтобы мне дали работу полегче. Тот лишь выругался: «Кулаки проклятые!» Вскоре ему пришла повестка из военкомата. Идет он, повесив голову, а Ковальский ему и говорит: «Пан директор, не огорчайся, тебя на этом фронте не убьют!» Тот рот разинул. «А вот на японском фронте точно убьют!» — продолжил Ковальский, когда директор уже прошел. На работу мы ходили далеко, с одного конца города на другой. Идем раз по площади, а Бируте, наевшись утром картошки, вдруг испортила воздух.

— Бируте, что ты делаешь! — сердится мама.

— «Перекасти-поле» выпускаю! — хохочет та.

Купить соль можно было, только выстояв огромную очередь. Стоим мы раз с мамой в такой очереди, а у меня живот распирает. Зная, что по-литовски тут никто не понимает, я говорю маме:

— Пойду на улицу, воздух испорчу.

Вдруг стоявший перед нами мужчина в деревенском полушубке оборачивается к нам:

— Здравствуйте, дорогие, так вы литовки будете?

Покраснев, я выскочила из магазина, но, увидев, что он не обратил на мои слова никакого внимания, вернулась.

— Вы откуда? — спросила мама у нового литовца.

— С Кавказа.

— Когда же вы приехали с Кавказа? — удивилась мама.

— Сейчас, сегодня.

— На чем же?

— Да на лодке.

Оказалось, что приплыл он из колхоза, который у литовского крестьянина превратился в Кавказ.

Слово за слово Опульскис рассказал, что работает в каменоломне, там, мол, и заработки неплохие, и дрова обещают привезти, а в качестве спецобуви бесплатно выдают лапти. Мама на следующий день сказала директору, что мы переходим на другую работу. И мы ушли. «Отдам под суд!» — кричал директор, но мы пропустили это мимо ушей. Мы не знали тогда, какая власть дана ему законом. Но он не успел ею воспользоваться — ушел на фронт, и скоро его жена получила похоронку.

Мы работали в известняковых карьерах. Киркой отбивали каменные пласты и складывали их в кучи. Потом их увозили и бросали прямо на лед, а весной сплавляли вместе со льдинами. В обеденный перерыв мужчины садились покурить и заводили приятный разговор. Например, один начинал:

— Бывало, приезжаешь домой, мать надевает цеппелинов*, поджарит сало с луком, добавит сметану... Вкатываешь такой цеппелин в миску, как поросенка, заливаешь подливой, протыкаешь вилкой, а сок оттуда как брызнет!.. Пар идет, в носу щекочет. Вкуснотища! Да разве мы тогда ценили?!

— А моя мама жарила блины, толстые такие. Сложит целую горку... Подцепишь вилкой, в соус обмакнешь. Язык проглотить можно! Рассказывали, в ту войну немец таких блинов объелся, да и помер, — подхватывал другой.

Никто даже не улыбнулся.

— Если на голодный желудок да таких блинов, заводит кишок случится, — замечает кто-то.

* Литовское национальное блюдо из тертой картошки с мясной или творожной начинкой.

Погрузившись в воспоминания, глотаем слюну, мысли скользят от цепелинов к блинам, к горячему хлебу с маслом, к парному молоку, к белому сыру с медом... Животы подводит. Еще не скоро домой, где ждет купленный по карточкам кусочек белого хлеба. Не купишь в тот день, на другой уже не получишь. Поэтому мы с Римантасом с вечера занимали очередь. Спросишь, кто последний, и ложишься по соседству в овраге: если милиция увидит — прогонит. Римантас, немного поспав, сменял меня, потом приходил Вайдеутис. К моменту открытия магазина мы были одними из первых.

Наступила зима. Карьеры засыпало снегом — только раскопашь, и снова все заносит. Дома холодно, зуб на зуб не попадает. Кубометр дров стоил шестьсот рублей — где взять такие деньги? Мы ходили по улицам, озираясь по сторонам — не попадется ли где-нибудь палочка, щепка или хотя бы бумажка. Заработки кончились, метель не унималась.

Мама свела знакомство с работниками клуба. Директор согласился взять ее декоратором, а Римантаса — художником-оформителем. Клуб уже назывался театром, потому что из Тулы, Калуги и Ленинграда в наш город эвакуировали много пожилых артистов. Они начали ставить пьесы. Мама с Римантасом рисовали декорации, шили костюмы. Материал в основном из церкви — бархат и расшитые рясы священников. Мама позаботилась о том, чтобы декоратором приняли и художника из Малой Литвы* Адомаса Бракаса. Однако у него дела шли неважно. Он был графиком и за все время работы нарисовал всего лишь один портрет для «Декабристов». Да и его использовали только за кулисами, когда надо было изобразить гром... Бракас был честным человеком, литовским патриотом, но со странностями. Он никому не разрешал называть себя «понас» (по-литовски «госпо-

* Прусская Литва (Калининградская область и бассейн низовья реки Нямунас).

дин»), потому что это слово произошло от польского «пан», пусть уж тогда лучше будет по-латышски — кунгс. Мы так его и звали. Жена Бракаса и один из его сыновей репатриировались в Германию, а его самого с сыном Таутвидасом вывезли в Алтайский край. Так он и оказался в Камне-на-Оби. Бракас говорил:

— Гитлер — Вельзевул, я потому и не поехал в Германию. А Сталин настоящий дурак: сослал культурных людей и лишился множества умных товарищей — как бы онигодились ему!

Однажды мама не дождалась Бракаса на работе, на другой день он тоже не пришел. А дети Галайдиной, вернувшись из школы, рассказали, что их учительница поймала шпиона. На третий день Бракас наконец появился.

— Вот дурни, вот черти! — возмущался он. — Иду я позавчера утром на работу, солнышко встает над пожарной каланчой, на ветке синичка чик-чирик... Чудесно! Вытащил карандаш, дай-ка, думаю, эскиз набросаю. Только начал рисовать, подошла какая-то идиотка и спрашивает, что я рисую. «Ну вот... ну... хорошо... ну... красиво», — объясняю ей. Она говорит: «Пойдем!» Я и пошел, она строго приказала, а если приказывает, значит, начальница. И знаете, куда она меня отвела? В коммандатуру! Там велели посидеть, пока начальник не освободится. Та баба все что-то болтает по-русски. Просидел я на скамье целый день, есть захотелось. «Кушать надо», — говорю, а они мне: «Подождешь». Ночью вызвали меня к начальнику — и что это за люди, которые ночью работают, — тот и говорит: «Дай портфель!» Даю. Он полистал мои эскизы и спрашивает: «Почему рисуешь?» — «Хорошо, красиво, хм... хм... солнце, птичка, вот...» — снова объясняю я. Все равно отвели меня в подвал. Продержали еще день. Дали воды. Я там еще одну ночь провел. Наутро снова отвели к начальнику. Тот вернул мне портфель и сказал, улыбнувшись: «На улице рисовать не надо», да и отпустил.

Я тоже решила уйти из каменоломни, но начальник не хотел отпускать. Мама снова обратилась в комендатуру, попросила, чтобы мне разрешили учиться — я, мол, несовершеннолетняя и хочу учиться в художественной школе. Просьбу удовлетворили. Я стала посещать художественную школу — она там называлась «Изостудия». Римантас тоже ходил туда. Преподавателями были очень квалифицированные художники, эвакуированные из Ленинграда. Они говорили, что мы с Римантасом подаем надежды. Кроме того, французенка, миниатюрная женщина, которую мы называли Рукавичкой, учила меня игре на фортепиано. Музыка — моя давняя мечта. Время у меня было, а на те тридцать рублей, которые ей положено было платить, все равно ничего не купишь.

Веруте Виленишкене директор клуба принял реkvизитором. И попросил еще, чтобы мама и на должность сторожа подыскала кого-нибудь из наших. Он не мог нарадоваться — люди работают от души, послушные, не отговариваются и не пьянствуют.

Суровая сибирская зима все больше вступала в права. Зимней одежды у нас не было. Правда, Римантас привез из Каунаса полушубок жившего у нас двоюродного брата Даумантаса. А я все время носила одну и ту же шубку из серой каракульчи, и, пока таскала камни, весь перед у нее вытерся до голой кожи. Я выглядела в ней, как обезьяна с голым животом. Голову покрывала платком с национальным узором, поверх замшевых чешских ботиночек надевала веревочные лапти, полученные как рабочая обувь еще на каменоломне. Над моими лаптями никто не смеялся, потому что не я одна носила такие, а вот платок был непривычным, и, когда я шла в студию, дети бежали за мной и дразнились. Было очень обидно.

В театре, в столярной мастерской, мама собирала палки и щепки, которых хватало лишь на то, чтобы согреть воду. Стены и потолок нашей комнаты всегда были покрыты толстым слоем инея, сверху свисали сосуль-

ки. Прекрасная декорация для дворца в «Снежной королеве»! Мы начали ломать голову, где бы раздобыть топливо. Местные жители весной вылавливали в Оби бревна или заготавливали на зиму кизяки. По дороге в комендатуру, куда мы регулярно ходили регистрироваться, я всегда глазами искала что-нибудь, что можно сжечь. Перед высокими воротами сибирских домов стояли скамейки, на которых в хорошую погоду любили сидеть женщины — лузгать семечки, чесать языки или искать друг у дружки вшей. Кстати, вшей искали охотно, отказывая лишь тем, у кого головы были чистые. «Не интересно», — говорили таким. Мы тоже садились на такую вкопанную в землю скамейку, ухватив снизу, раскачивали ее, а вставая, вытаскивали ножки из земли и оставляли так стоять. Возвращаясь домой, подхватывали скамейку и уносили. Вот и топливо на несколько дней! Мама что-то поменяла на горшок сала — мы сдабривали им картофельный суп. Из кабачков наварили кашу, которая казалась ужасно вкусной даже без сахара. Чтобы она не прокисла, в чуланчике разлили ее на дощечке такими блинами и заморозили. Сахара мы не видели с литовских времен. Раз пришла Галайдина и сказала, что возле их дома лежат колхозные бревна, но уже года три никто их не трогает. Раньше бревна сторожил ее муж, колхоз расплачивался с ним за это ведром картошки в месяц, но муж уже давно помер.

— Может, возьмем по бревну? Ваши ребята и мне помогут — мои-то еще маленькие, им такого бревна с места не сдвинуть...

Это был один из самых страшных вечеров в нашей жизни. Мы с Бируте ходили туда-сюда по улице и сторожили, чтобы нас не застали врасплох. Увидев что-нибудь подозрительное, мы должны были покашлять. Римантас с Вайдеутисом втащили одно бревно в избу Галайдной. Дети сразу схватили пилу и принялись пилить его. Шел сильный снег, который должен был скрыть следы нашего преступления. Подняв второе бревно, братья по-

тащили его в нашу кухоньку. Однако, к нашему ужасу, оно не поместилось там, и конец остался торчать в дверях. Надо было распилить бревно пополам. Вдруг на улице появился человек верхом на лошади. Мы обмерли. Теперь нам конец — за украденный коробок спичек сажают в тюрьму, что же с нами сделают за бревно? Но человек, оказавшийся милиционером, только спросил нас о ком-то, чьей фамилии мы и не слышали, а получив ответ, развернулся и уехал. Мама заплакала. По-видимому, никакие бревна его не интересовали. А может, он решил, что они наши. Бревно мы распилили, а чурбаки спрятали в погребе. Но потом осмелели — уж если милиционер ничего не сказал, то соседские бабки знать не знают, что бревна казенные. Римантас с Вайдеутисом сначала накололи дров, потом по частям снесли их в дом. Комната понемногу согревалась, с потолка стало капать, и крупные капли то и дело попадали по макушке или за воротник.

Наконец мама договорилась с директором, что Вайдеутиса возьмут в театр сторожем — как-никак будет сидеть в тепле, а на зарплату все равно ничего не купишь. Пошел он к начальнику каменоломни, положил на стол заявление и в тот же день уже был в театре. Рассказывали, что начальник кричал: «Судить буду!» Но не он первый пугал нас судом. Галайдина подтвердила, что за самовольный уход с работы действительно можно попасть под суд, но чаще за это высчитывают двадцать процентов из зарплаты. А это нас вовсе не волновало.

Приближалось Рождество, а в наш дом пришла новая беда. Принесли повестку из суда. В тот день мы собирались в баню. Вайдеутис пошел прямо в суд, а мама решила идти туда после бани — узнать, сколько процентов будет у него высчитывать. Вернулась в слезах:

— Вайдеутиса осудили. Встретила его уже на улице: солдаты вели его в тюрьму, где ему предстоит отсидеть четыре месяца. Вайдеутис сказал, что почти ничего не понял, говорил в основном директор каменоломни. Я

бросилась в суд, там сказали, что отбывать наказание он будет в Барнауле, потому что в Камне нет тюрьмы. «Ничего, посидит, другим урок будет, а то совсем распустились, будто на вас законы не распространяются», — добавил судья.

Это случилось 15 декабря 1941 года. Немного позже удалось выяснить, что под Новый год всех узников пешком погонят за двести километров в Барнаул. Актриса Генералова дала старые валенки, шерстяные носки и рукавицы своего покойного мужа. Мама на базаре что-то выменяла на тулуп. Принадлежал он, наверно, трактористу, потому что лоснился так, словно был отлакирован. Впервые за все время нам выдали по двести граммов сахара, который мы весь отложили для Вайдевутиса. Конвой погнал брата в Барнаул, и он словно сквозь землю провалился. Куда только мама ни обращалась, куда ни писала — отовсюду приходил один и тот же ответ: «Такого не было и нет».

Новый год мы решили встречать в театре, в столярной мастерской. В буфете удалось купить морс, то есть окрашенную чем-то в розовый цвет и подслащенную сахарином воду, и пряники, покрытые мятной глазурью. В столярной мастерской работали два старика: один — Петрович, другой — Каллистратович. Их фамилии знала, наверно, только кассирша. Каллистратович жил с дочерью, которая работала в столовой и купила ему бутылку водки. Голос у него был сиплый, сам он объяснял это тем, что у него было «серебряное горло». Дело в том, что в молодости он из ревности зарезал жену, а потом и себе самому перерезал горло, но врачи вставили ему металлическую трубку и спасли жизнь. За убийство он с маленькой дочкой был сослан в Сибирь пожизненно. Каллистратович принес еще квашеную капусту. В столярной мастерской было тепло, мама застелила стол простыней. Каллистратович поставил водку около радиатора, чтобы она поскорее согрелась. Мы все уселись вокруг стола, на котором стоял горшочек с капустой, лежа-

ли пряники, а в кувшине был морс. Нахлынули воспоминания о Литве. Разве так встречали мы Новый год?! Каллистратович потер руки и уже собрался было взять бутылку, но в этот момент она звякнула, водка пролилась и мигом впиталась в стружки... Пробыло двенадцать. Мы радовались тому, что закончился страшный 1941 год, принесший нам столько горя и нищету. А каким будет новый? Мы все были полны надежд, только очень не хватало папы и Вайдеутиса.

Со мной в студии учился такой Вася Коняшов. Он отлично рисовал и опекал меня — подходил и показывал, что я неправильно делаю. Вечерами мы подолгу не расходились по домам. В зале шли спектакли, я все их видела уже по нескольку раз, поэтому сидела в фойе, а Вася устраивался рядом, брал мою руку и говорил: «Ну, что тебе сказать? Ты ведь все равно ничего не понимаешь...» Мы молчали, весело переглядываясь. Но стоило в зале раздаться аплодисментам, как Вася отпускал мою руку и убегал, бормоча: «Не обижайся, так надо...»

Вспоминаю один праздничный детский утренник. Одновременно на первом этаже проходил какой-то съезд оставшихся в тылу ответственных работников. В буфете им продавали конфеты и пряники. Полуголодные детишки с красными от холода носиками пели на сцене: «Спасибо родному Сталину за счастливое детство», однако двери буфета были для них закрыты — они могли только исходить слюной, прижимая к стеклу носики и ручки. Шуршащие конфетными бумажками ответственные работники, видимо, действительно были «ответственными», так как сумели отвертеться от фронта. На войну брали уже почти что детей. Не раз там же, в клубе, собирались шестнадцатилетние мальчишки, призванные на военную службу. Призванные на смерть. В ожидании призывной комиссии они сидели с матерями на широкой клубной лестнице и дремали, положив головы им на колени. Отцы уже воевали, пришел их черед. Матери, что-то негромко голося, раскачивались из стороны

в сторону. В их глазах застыла боль. Они уже не плакали, слез больше не осталось.

Наступило 8 марта. Я болела ангиной. Вернувшись с работы мама сказала, что было торжественное собрание, а теперь идет развлекательная часть. Спросила, что я собираюсь делать — идти в клуб или сидеть дома. Я — дома?! Ни за что! Оделась потеплее, и мы все пошли в клуб. Там уже собрались артисты. Сын Бракаса Таутвидас играл на аккордеоне, все танцевали. Завели плясовую. Старый директор — штаны едва держались на его толстом животе, — пыхтя, сделал круг, потом остановился перед старенькой уборщицей и потоптался перед ней, приглашая на танец. Та взвизгнула, вытащила из рукава носовой платок и пустилась в пляс, при этом груди ее ходуном ходили. Мне понравилось, что директор не увидел ничего зазорного в том, чтобы танцевать с уборщицей. Таутвидас заиграл польку. Мы с Римантасом пошли танцевать. За нами последовали артисты — им понравился наш танец.

Домой я вернулась в приподнятом настроении. Мама с Бируте курили. Как-то раз, оставшись одна дома, попробовала и я. Голова закружилась. Было такое чувство, как будто надо мной гудят летящие самолеты. Закрыла глаза. Казалось, что я лежу в поле возле аэродрома, мысли летели в Литву. И так каждый день, когда все уходило, я затыгивалась дымом, ложилась и мечтала. Было хорошо, хотя подступал кашель. Я начала курить.

Артист Волжин предложил маме перебраться в кухню его квартиры в актерском общежитии. В каком-то спектакле Волжин спутался и вместо слов «Колхоз — смерть капитализму» сказал «смерть коммунизму», за что и был выслан из Калуги в Сибирь. Тем временем в Калуге умерла его жена, дети боялись переписываться с политическим ссыльным, а он, опасаясь причинить им неприятности, не искал их и ничего о них не знал. Жил один со своим лучшим другом Ральфом — большой немецкой овчаркой. Кухня была такой большой, что мы

поставили там две лежанки. На большей спали мы с мамой, на узкой — Римантас. Я начала работать воспитательницей у режиссера Гончарова, женой его была актриса Валерия Кампе, латышка по национальности. У них была шестилетняя дочка Лерочка. Поскольку мы жили в одном общежитии, они звали меня к себе, если им надо было уйти. Они вполне прилично жили. На столе всегда стояла ваза с печеньем и конфетами. Мне становилось плохо при виде этих сладостей, но хозяева никогда не предлагали их мне.

Шло время. Весна была необыкновенная. Отнеся на рынок кое-какие вещи, мы смогли посадить картошку. Еще посеяли горох. Когда лед сошел и по реке поплыли бревна, Римантас одолжил лодку и выловил несколько бревен. Мы их распилили, накололи, и теперь у стены красовалась большая куча дров, серых, блестящих. Каждый вечер я приносила по сто коромысел воды — и для картошки, и для гороха. Ну, а они, словно в знак благодарности, отлично росли. Приятно было смотреть. Но когда мы сели за стол, мама крестилась и глубоко-глубоко вздыхала — не хватало Вайдеутиса. Мы уже стали привыкать к мысли, что его нет в живых. Однажды пришел к нам Бракас и говорит:

— Я знаю, где Вайдеутис.

Мы вскочили, как ошпаренные.

— У доктора Алекнене.

— Так почему же он не идет домой? Господи, что с ним? — переполошились мы.

— Он не ходит, придется привезти...

Мы все тут же помчались к Алекнене. В кресле на колесиках, в котором увезли парализованного свекра Алекнене, сидел мой брат. Да, это был Вайдеутис! Хотя встретиться он мне на улице, я бы не узнала его. Он страшно располнел, щеки будто надутые, даже блестят. Увидев нас, заплакал. Он что-то мычал, а по щекам текли слезы...

— Что с тобой, Вайдеутис? — обняв его ноги, рыдала мама.

Все мы плакали.

— Он парализован и распух, — объяснила Алекнене. — И говорить не может — горло тоже парализовано.

Кто-то сразу разыскал двухколесную тележку, на которой местные жители возили все, что было не под силу нести. Мы привезли Вайдеутиса домой. Погода была теплая, солнечная, а он в валенках. Когда хотели снять их, выяснилось, что его ноги страшно распухли и стянуть валенки невозможно. Выяснилось, что и в больнице брат лежал в валенках: боялись разрезать их, а то не в чем будет отправить домой. Римантас решительно разрезал валенки. Комната наполнилась смрадом гниющего мяса. По ранам ползали крупные желтые вши. Алекнене предупредила, что распух он от голода и что кормить его надо понемножку, осторожно. Окорок и паштет дождались Вайдеутиса. Нам снова, уже второй раз, выдали по двести граммов сахара, который весь достался брату.

Оказалось, что был он в лагере под номером АТК-1. Валили лес. Кстати, мама из этого лагеря тоже получила ответ, что такого там нет и не было. Содержались в том лагере ссыльные литовцы. Когда Вайдеутис ослаб настолько, что упал и не мог встать, надзиратели избили его и потащили к женщине, жившей в лесу, в маленькой избушке. Составили акт, что он пьяный и что напоили его другие литовцы, потом велели той русской женщине как свидетельнице подписаться. Однако женщина оказалась честной и своей подписи на протоколе не поставила. Тогда из лагеря привезли врача-еврея, которому приказали подтвердить, что Вайдеутис пьян. Осмотрев Вайдаса, врач тоже не поставил своей подписи, заявив, что заключенного от слабости парализовало и что его необходимо положить в больницу. Так и уложили Вайдаса в постель, не снимая валенок. Обросший бородой и усами, распухший Вайдеутис больше был похож на старика, чем на двадцатилетнего парня. Убор-

щица и санитарка Дуся Самсонова, подходя к нему, обычно спрашивала: «Может, помочь чем-то, дедушка?» А когда перед отправкой домой он побрился, Дуся не могла сдержать слез: «Деточка, у меня такой же сын на фронте, а я тебя дедушкой зову!..» Вайдеутис обошел все кабинеты и собрал подписи, что за время заключения новых преступлений не совершил. Однако из тюремной больницы сам выйти уже не смог. Тетя Дуся дала ему в дорогу рубль и литр перловой каши, комендант — норму хлеба, а заключенные — несколько сырых картофелин, которые он сразу же сгрыз. Тетя Дуся на двухколесной тележке отвезла его на пристань. Ухватившись за перила, он кое-как забрался по трапу на пароход и упал без сознания. Когда пришел в себя, было уже темно, пароход пыхтя продвигался в сторону Камня. Брат просил проходящих мимо помочь ему подняться, но один мужик, не поняв его бормотания, предложил рубль, если он скажет, где достал водку. Наутро он почувствовал слабость, желудок был пуст. Вспомнив, что у него есть рубль, он на карачках спустился в трюм, где была столовая. Собрав последние силы, взгромоздился на стул, официантка принесла ему единственное блюдо — щи. «Стал я понемножку хлебать, — рассказывал Вайдеутис. — Прибежала официантка и стала кричать, что люди, дескать, ждут, а я так долго с тарелкой супа вожусь. Я попытался есть быстрее, но суп стал выливаться через нос. Увидев такое, официантка столкнула меня со стула...»

Пароход подплыл к Камню. Неизвестно откуда взяв силы, Вайдеутис встал, добрался до берега, а дойдя до пожарной каланчи, упал. Он решил идти к доктору Алекнене, потому что знал, что она работает в поликлинике, значит, не изменила своего адреса, а мама уже давно собиралась переехать в актерское общежитие. Рано утром его растолкал дежурный, думая, что он пьяный. Вцепившись в каланчу, брат кое-как поднялся и дотащился до дома Алекнене.

В столовой мы покупали рассольник, жидкость выпивали сами, а гущу отдавали Вайдевутису. У знакомой продавщицы купили гамак, повесили его в тени деревьев и положили в него больного. Я прикладывала к ногам компрессы, раны стали понемногу затягиваться. Тоненькими ломтиками нарезали окорок и кормили оголодавшего Вайдевутиса. Окорок так нравился ему, что он без конца просил и просил его. Я терпеливо объясняла, что много ему есть нельзя, что все равно и окорок, и паштет, и сахар, и соленое масло — все предназначено для него одного. Но он не переставал выпрашивать, даже требовать. Как-то раз, разозлившись, грязно выругался. Я не удержалась и попрекнула:

— Говорить не можешь, а ругаешься так внятно!

Он заплакал. Однажды, вернувшись с улицы, я увидела такую картину: брат сидит на полу возле тумбочки, а возле него лежат окорок и нож. Видимо, ему так захотелось окорока, что он умудрился подняться, добрался до тумбочки, взял нож, но отрезать уже не смог.

14 мая был день рождения Вайдевутиса. Я купила три литра морса и, налив в бутылку, подала ему. Выпив одну бутылку, он стал требовать еще. Я предупредила, что ему больше нельзя, но он просил таким молящим взглядом, что я не выдержала и уступила. Вечером у него поднялась температура. Пришла Алекnene и сказала, что это, видимо, конец, потому что я его перепоила. Я спряталась в кладовке и молила Бога выслушать меня и не отнимать брата теперь, когда он уже тут, с нами. Наутро температура упала, и у него отпустило горло, он мог свободно глотать и даже внятно говорить. Это было как чудо. Мы плакали от радости.

Неожиданно заболела я. Страшно распухла левая нога, боль невыносимая, я не могла ступить ни шагу, поднялась температура. Мама ухаживала за мной, меняла компрессы. А тут еще Римантас стал жаловаться на боли в горле и в ухе. Началось воспаление уха, а в горле появился нарыв. Бедняга ходил по комнате с обвязанной

головой, согнувшись в три погибели, и стонал. Лекарств не было. Мама ставила ему компрессы с отрубями. Бедная наша мамочка! Разрываясь между больными детьми, она так измучилась, что, когда мне стало лучше, она попросила:

— Доченька, раздень меня...

Я осторожно сняла с нее платье и ахнула — только теперь я увидела, какая она худая. Мама легла и в тот же миг уснула. Спала беспокойно, металась в жару. На другой день свезли ее в больницу. Из нас троих, оставшихся дома, я была самой крепкой. Больным нужно было усиленное питание. Мы взяли брюки Вайдеутиса и пошли с Римантасом на базар. Там к нам подошел молодой паренек и спросил, сколько мы просим. Услышав, что двести, он поинтересовался, не согласимся ли мы взять молоком. Мы с радостью согласились и дали наш адрес. Он пообещал, что каждое утро его сестренка будет приносить нам кринку молока. Взял штаны и был таков. Мы даже не успели спросить, где он живет. Стало страшно. А вдруг не принесет? Где тогда его искать? Вернулись домой мрачные, даже не пошли навестить маму. Наутро громко залаял Ральф. Я подбежала к дверям и увидела женщину с девочкой. В руках у женщины была двухлитровая кринка.

— Это вы и есть те литовцы, у которых мой сын вчера купил штаны?

— Да! — обрадовалась я.

— Я вот дочку привела, чтобы знала, куда молоко носить.

Увидев Вайдеутиса, она спросила, что с ним. Когда я объяснила, что это мой парализованный брат, женщина стала успокаивать:

— Ничего, молодой еще, поправится. А мой сынок уже вернулся с войны. Отвоевал. Весь изрешечен пулями, залатанный, как у нищего сермяга, вы посмотрели бы, какое у него страшное тело, когда раздевается. Но живой, отпустили, слава Богу, навсегда. Может, Господь

его пожалел, очень добрый мальчик. А отец еще воюет. Нет-нет да и получаем от него весточку. По чужим краям скитается, мы и названий-то таких выговорить не можем. А молока я вам, ребята, дам, как договорились, и еще пятьдесят рублей занесу. Жалко мне вас. Может, за тот лишний глоток молока, что я вам принесу, Боженька моему Васеньке на фронте хлебную корочку подкинет. А вы не будьте такими доверчивыми. Развелось теперь полно разных паразитов, воров да мошенников. Поостерегитесь.

Каждое утро мы оставляли на скамейке пустую кринку и находили полную. Теперь, доставая Вайдевутису гущу из рассольника, мы ее еще и молоком забеливали, да и сами хлеб забеленным кипятком запивали.

К Лерочке я больше не ходила: ее родители уехали на гастроли и взяли ее с собой. Вернулась из больницы мама. Выздоровел Римантас. Садясь за стол, мы крестились и думали о папе. Жив ли он? Не голодает ли? Здоров ли? Наверно, ему теперь очень-очень трудно: мы слышали, что все мужчины в лагере, а что творится в лагерях, мы знали от Вайдевутиса.

Мы ходили по зеленеющему огороду и радовались. Ну, теперь-то голод нам уже не страшен. Пышная картофельная ботва, горох уже завязывается, мама купила мешочек овса — когда будем посвободнее, снесем на мельницу, чтобы намололи крупу. И дрова заготовлены, большая куча поленьев поблескивает на солнцепеке. Купить бы еще курицу какую-нибудь! Рай был бы настоящий, как в Литве!

Неожиданно пришла повестка, предписывающая явиться в комендатуру. Мы разволновались. Пошла мама. Вернувшись, сообщила, что нас куда-то перевозят.

— Наверно, снова какой-то приказ поступил, — терялась в догадках мама, потому что когда мы спрашивали, за что нас вывезли, то получали туманный ответ: «По специальному приказу», а когда пытались узнать, долго

ли нам еще придется здесь оставаться, отвечали: «До специального приказа».

Нашей семье было приказано в течение двух дней собраться и 22 июня быть на пристани. Бируте Нашлюнене оставалась в Камне. Как же нам отправляться в путь с таким больным? А может, отвезут куда-нибудь, где условия будут лучше? Разные мысли приходили в голову. А дрова? Куда же их теперь девать? Ну, их, может, еще удастся продать... А картошка, горох? Что будем там есть? А кому достанется картошка, которую мы посадили? Ворам, бездельникам, которые и улицы-то замостить ленятся, предпочитая брести по колено в грязи после первого же дождя... А вдруг повезут домой, и тогда уже не понадобится ни картошка, ни горох... Страх боролся с надеждой. Страшнее всего была неизвестность. В любом случае в дорогу нужна еда, хотя бы сухари для Вайдевитиса. А как быть с молоком? Как найти ту женщину? Может, она не приходит, потому что узнала, что нас увозят, уже два дня нам не приносят молоко. Стали наведываться «купцы» — мама сказала соседкам, что продает два платья (мое шелковое и свое шерстяное) и две пары моих туфель. Мои черные туфли сразу взяли за пять буханок хлеба, которые мы нарезали и подсушили в печке. Последние мои туфли взяла соседка, и я осталась совсем босая. А она, сунув, как сказала, для начала семьсот граммов хлеба, ушла из дома и до нашего отъезда так и не появилась. Мой замечательный зонтик мама поменяла на килограмм пшеницы, подаренную Валюте брошь — на полбуханки хлеба. За шерстяное платье мы просили четыреста, а за шелковое — триста рублей. Пришли две русские женщины, померяли и купили шелковое платье. Через несколько минут одна из них вернулась, попросила примерить шерстяное платье, надела его и выскочила в дверь, говоря, что мы и так слишком много содрали. Мы стояли ошеломленные. Больше продавать было нечего, потому что русские не покупали ни светлых платьев, ни светлого материала — чем их сти-

рать? Остальная одежда была поношенная, но оставались еще мамины туфли из рыбьей кожи на очень высоком каблуке, черное вечернее платье, вышитый тетей Оните необыкновенно красивый халат, мамина желтая шелковая ночная сорочка и кремовый гипюр, который покупательницы шупали, говоря: «Можно было бы использовать как сетку от комаров, только дырки слишком большие...»

Из гамака Римантас соорудил носилки. Свои пожитки мы сложили в телегу, сверху устроили Вайдеутиса на носилках, попрощались с Волжиным, оставили ему картошку и горох и уехали. Разгрузились на пристани и стали ждать парохода. Я купила самосад, сунула его в старый чулок и спрятала, чтобы мама не нашла.

Утром смотрим, идет женщина с дочкой и сыном, который купил у нас штаны, и глазами кого-то ищут. Увидев нас, обрадовались:

— Слава Богу, нашли. Не сердитесь, что последние дни мы не приносили молока: узнали, что вас увозят, и решили, что в дорогу лучше взять масло, творог... Вот я и собрала. — И она протянула больше килограмма соленого масла и кусок творога, спрессованного, как наш литовский сыр.

Мы от души поблагодарили.

— Может, мало? Может, еще денег добавить? Правда, у меня нет, но могла бы займы взять, — словно провинившись в чем-то, смущенно сказала женщина.

Нас тронула ее честность: одни пользовались случаем и воровали, а другие думали о том, как нам помочь. Мама от денег отказалась, еще раз поблагодарила за масло и творог, и мы попрощались.

— Она напомнила мне молодость, тех настоящих русских, каких я знала раньше, — сказала мама.

Мы везли с собой ящик соли (примерно одно ведро), выстоянной в длинных, изнурительных очередях. Неизвестно было, понадобится ли она. Мама говорила, что в ту войну особенно ценились соль и спички. Еще

одну ночь провели под открытым небом. Бродили по пристани. Смотрим, идет Галайдина с Машей. Пока Галайдина говорила с мамой, Маша все повторяла мне: «В Литву вас везут, вот увидишь, что в Литву!» Я доказывала, что нет, и вдруг мне пришло в голову: сумочка ей нужна, моя замечательная красная сумочка, которую я пообещала отдать ей, когда поеду в Литву. Я сказала об этом маме, мы посоветовались и решили подарить девочке эту сумочку. Покопавшись в узлах, я вытащила сумочку и протянула Маше. Ее глаза заблестели, и она бросилась к своей маме, спрашивая взглядом, брать или нет.

— Раз дарят, бери. Не забудь поблагодарить, — сказала Галайдина.

Маша крепко прижала сумочку к груди, подняла к небу голубые глазки, из которых брызнули слезы радости, и поцеловала сумочку.

— Не сумочку, а тетю Юрате целуй, — сказала Галайдина.

Та схватила мамину руку, стала ее целовать, потом бросилась ко мне, поцеловала в щеку, снова принялась целовать сумочку. Нам было приятно и трогательно. Радость этой девочки была для нас высшим вознаграждением. Галайдина спросила, когда нас увезут. Мама сказала, что, наверно, не сегодня.

— Ну, пошли, держи свое сокровище. Не дам нести, пока не вырастешь.

— Хорошо, мама, — сказала девочка и, подпрыгивая от радости, исчезла со своей матерью в толпе.

На другое утро мы проснулись ни свет ни заря, мучила неизвестность, да и спать на узлах было не очень-то удобно. Неожиданно снова появилась Галайдина со всеми своими детьми. Дети толкали двухколесную тележку.

— Это вам за доброе сердце, — сказала она. — Тут полмешка картошки, немного сухарей, кусочек масла, кусок мыла... Это все, что у нас есть... Мы уж как-ни-

будь, а вам в дороге, особенно с больным, очень кстати будет...

Мы не хотели брать, но Галайдина была непреклонна:

— Если бы не ваши парни, мы погибли бы от холода. Дай Бог вам счастливо добраться до дому... Только не верится мне, что вас домой везут. Домой самим бы велели ехать...

Вскоре, тяжело пыхтя, приплыл пароход. Вечером мы уже были в Барнауле. В Барнаульском театре кто-то узнал, что нас привезли, пришел администратор и предложил маме остаться, сказал, что с комендатурой договорился. Врач Левин осмотрел Вайдевутиса:

— Организм молодой. Случается, что при перемене климата такие больные выздоравливают. Если можете, купите водку и делайте массаж.

С помощью театрального администратора мама достала ящик водки. Вайдевутиса осмотрел еще один врач — местная русская. Она сказала:

— Могу вас обрадовать, у него еще и туберкулез. Долго не протянет — сам измучается и вас замучает...

Мама никак не могла решить.

— Ну что, остаемся в Барнауле или едем? — спрашивала она.

Мы все хором просили: едем, едем! Решили ехать дальше. Однако с таким больным никто не хотел пустить нас в свой вагон. Наконец Теодорас Даугис и евреи братья Ульямперисы подняли шум: с таким больным в первую очередь надо пустить в вагон. И сами внесли носилки в первый попавшийся вагон. В нем оказалась и Веруте со всей многочисленной семьей Виленишкисов.

И снова дорога. Мы ехали на восток, а значит, не домой. Хотя кое-кто успокаивал себя — дескать, нас везут через Америку, потому что на западе идет война.

В нашем вагоне оказались и другие знакомые: бывший учитель и директор Керамического училища Юозас Жильвитис с семьей, бывший журналист Юозас Гудьюр-

гис, Владас Масюлис, когда-то работавший послом Литвы в Германии, с женой и двумя сыновьями. Один из сыновей, Юргис, отлично играл на аккордеоне. Когда поезд останавливался, молодежь танцевала на лужайках, а я сажала брата на горшок, потом бежала мыть его в луже или в речке, только чтобы нас меньше попрекали в вагоне. Мне было тогда восемнадцать лет, и так хотелось танцевать... В нашем вагоне ехало много опоячавшихся литовцев: Владас Казела, который мне симпатизировал, семьи Стратавичюсов и Пахлевскисов. Была тут и семья Казласов с маленькими детьми. Они развели вшей, которые свободно ползали по полкам и атаковали других пассажиров. Ни помыться, ни постираться было негде, и они досаждали нам страшно. К счастью, на какой-то станции нас сводили в баню, где женщин обслуживали мужчины, а мужчин — женщины. Там мы наконец помылись, а нашу одежду тем временем продезинфицировали. На остановках нас просили продать соль, но мы не соглашались — сами боялись остаться без нее.

В один прекрасный день Жильвитис принес маме весточку от отца. Это был маленький клочок бумаги, на котором рукой отца было написано: «Я в Свердловской области Гаринский район село Гари почта 239/10 47-1/кв.». Жильвитису его передал какой-то мужчина, интересовавшийся, нету ли здесь кого-то, кто бы знал о семье Витаутаса Бичюнаса. Этот человек сообщил также, что папа сидит в лагере без права переписки. Но он был жив!

Мы проехали Красноярск, Канск, Тайшет. Наконец остановились в Заярске, маленьком городке на берегу Ангары. Выгрузились, сложив вещи и носилки с Вайдевитисом у забора. Пошел дождь. Помогая писателю Сужеделису нести вещи, Римантас насквозь проколол себе ладонь вылезшим из ящика гвоздем. А Вайдевитиса надо было прятать от дождя. Снова на помощь пришли Даугис и Ульямперисы — перенесли брата к будке, мы нашли доски, прислонили их к этой будке, и вот уже готов

заслон от дождя. Сами мы сидели на узлах, в которых было все наше состояние. Наступила ночь. Маму мы укрыли одеялами, а сами с Римантасом в промокшей одежде, съезжившись, навалились на наши узлы, чтобы они не промокли насквозь. Среди ночи я проснулась от боли: при вдохе болело под обеими лопатками. Вдоль забора шла дорога, на ней выстроились мужчины, все с широкими скулами и раскосыми глазами, мимо них шел офицер с фонарем в руке. Свет от него снизу падал на лица, как я позже узнала, якутов. Все они казались мне страшными. «Господи, что это? — простонала я. — Может, мне уже черти мерещатся?» Дышать становилось все труднее. Якуты, получив команду, ушли. Снова осталось только черное небо со светлой полоской на горизонте — скоро рассвет. Вдохнув воздух, я застонала от боли. Мама приложила руку к моему лбу.

— О Боже, ты вся горишь! — вскрикнула она, перепугавшись. — Неужели мало одного больного на носилаках?! — простонала моя бедная мама.

Когда рассвело, она отправилась на поиски доктора. С берега Ангары на высокую гору, на которой стоял городок Заярск, вела длинная деревянная лестница. На той горе находился медпункт. Мама с Римантасом потащили меня туда. Уложили в чистую мягкую постель. Господи, как же хорошо после года скитаний снова очутиться на настоящей кровати, застеленной белым бельем! Она стояла у окна, сквозь которое светило ясное солнышко. Скоро пришла врач, осмотрела меня, сдернула с шеи тонкую золотую цепочку, с которой упал крестик.

— Возьми свой талисман, — сказала она мне и повернулась к маме: — Двустороннее воспаление легких.

Мама молящим взглядом просила о помощи. Однако выяснилось, что никаких лекарств нет, все отдано фронту, а врач может лишь сделать укол камфоры. После инъекции я спокойно заснула. Проснулась от шума: дверь громыхнула старая еврейка, державшая за руку маленькую кудрявую девочку. Я села. Сорочка насквозь

мокрая от пота, но в медпункте было тепло, и мне легко дышалось. Еврейка ходила от одной кровати к другой, спрашивая, когда освободится место, и кричала: «Мою Зиночку на раскладушку! Тут и без того дышать нечем!» Подбежала к моему окну и распахнула его настежь. Подул ветер, и мне показалось, будто холодной рукой провели по моей спине. Я легла и натянула на себя одеяло. Холодная влажная сорочка неприятно прилипла к телу.

Мама поменяла пол-литра водки на цыпленка, сварила бульон, покормила Вайдевутиса и немножко принесла мне. Есть не хотелось — даже цыпленка, который еще недавно был пределом мечтаний. Все тело было словно в огне. «Надо переводить в больницу», — услышала я разговор. «Состригут волосы, такие красивые», — сказал кто-то. Мне стало страшно, нет, не за мое здоровье. Что же, я теперь лысая буду, что ли?! Ночь прошла, как сплошной кошмар. Утром появилась та же врач. «Кладем в больницу!» — донеслись до меня слова, но я не могла даже руку поднять, только металась с одного края кровати на другой — казалось, что так прохладнее, легче. Голос мамы умоляет: «Доктор, помогите!» — «Я не Бог. Был бы у вас красный стрептоцид, может, она и выкарабкалась бы, он просто чудеса творит», — ответил другой женский голос. Когда врач ушла, я попросила маму:

— Мамочка, отрежь мои локоны и спрячь, поправлюсь, приделаю их к косынке, парик сооружу, все не так страшно будет, как лысой ходить... — Волосы липли ко лбу и жгли меня, я не могла больше терпеть.

Мама принесла ножницы, косынку, свои туфли — вишневые, из рыбьей кожи, на таком высоком каблуке, что врач, может, и могла бы в них ходить, но только не колхозницы из нашего Камня, и новые, хорошие, тонкие, как паутина, чулки. «Это для врача, — сказала она, — может, достанет этот красный стрептоцид...» Она аккуратно отрезала мои волосы и завязала в платочек. С туфлями и чулками пошла к врачу. Скоро вернулась с красными таблетками. «Для солдат, только для солдат и

для ответственных работников, — сказала врач. — Все лекарства идут для фронта». Она взяла туфли и чулки, продолжая повторять все те же слова. Я снова потеряла сознание, и Даугис с Ульямперисами снесли меня в больницу.

— Кладите ее вон на ту кровать, там сегодня одна литовка умерла, может, эта выживет, — сказала маме нянечка.

Меня положили на кровать возле окна. Сколько времени пролежала я без сознания, не знаю. На какой-то день открыла глаза и почувствовала, что мне прохладно, хорошо. Поперек палаты стояла еще одна кровать. На ней сидело какое-то существо — я даже не поняла, мужчина или женщина. Вонзив в меня взгляд, этот страшный человек вдруг стал звать: «Саша! Саша! Саша!» Я накрылась с головой и закричала. В дверь просунулась голова женщины, видимо нянечки:

— А-а-а, живая? Чего орешь?

— Кто это?

— Кто, кто! Ясное дело, девка! Неужто подумала, что тебя с парнем положили?

— Но она лысая!

— А ты на себя взгляни!

Я провела рукой по голове. Господи, когда же меня так обкорнали? Волосы были срезаны клочьями, словно ножницами для стрижки овец. Нянечка ушла, но скоро вернулась:

— Есть будешь?

— Не хочется.

Но она все равно принесла две мягких булочки и чашку чаю. Сосало под ложечкой, во всем теле была какая-то бесконечная слабость. Я взяла булочку, без всякого желания надкусила, она пахла какими-то лекарствами. Проглотить не смогла. Вдруг за окном я увидела маму. Внутри ее не пускали. Я откинула крючок, окно приоткрылось. Я сидела, закутавшись в одеяло, боялась снова потерять сознание. Мама заплакала. Перевесив-

шись через окно, она целовала мою руку, а я — ее. Мы обе плакали.

— Ты почему не ешь?

— Не могу.

— Надо, милая, надо поправляться. Так долго без сознания, без пищи. Я принесу тебе цыпленка, сменяю на водку.

— А чем будешь растирать Вайдаса?

— Я еще не успела тебе сказать. У нас большая радость. У Вайдевутиса снова была очень высокая температура, а после этого он неожиданно начал ходить.

Пришла нянечка и велела закрыть окно. Я попросила маму, чтобы она у кого-нибудь заняла зеркальце и принесла мне и чтобы мой дневник тоже принесла. Отдала ей булочки, чтобы их съели дома. Скоро она принесла то, о чем я просила. Посмотрела я на себя и заплакала. «Ничего, отрастут», — успокаивала меня мама. Сколько же раз ей, бедняге, пришлось ходить по той крутой лестнице туда и обратно?!

Аппетит ко мне все не возвращался, казалось, еда пахнет лекарствами. Как-то раз я спросила у нянечки, где можно умыться. Она объяснила мне, что по другую сторону от сеней есть туалет. Я села, голова кружилась. Уцепившись за край кровати, кое-как встала. Дверь была рядом, а сени такие узкие, что, растопырив руки, можно было держаться за обе стены. Открыла дверь туалета. Окрашенные в темно-зеленый цвет и забрызганные мыльной пеной стены, висит рукомойник, на табуретке стоит тазик, рядом кусочек черного мыла, а на большом ржавом гвозде — до серости застиранное полотенце. Рядом — сколоченный из досок, накрытый деревянной крышкой «туалет», сильно воняющий хлорной известью. У меня перехватило дух. Придерживаясь одной рукой за стену, я другой подняла металлический штырек, из рукомойника брызнула вода... Я смочила лицо, только вдруг оглушительно зазвенело в ушах, все стало вращаться, и я упала. Услышав стук, прибежала нянечка, подняла меня

и отвела в палату. Уложила в постель, принесла тазик с теплой водой, помыла, даже ноги мокрым полотенцем вытерла.

Мама сказала, что уже давно всех на грузовиках увозят куда-то еще и что людей осталось только на пару дней. Из-за моей болезни нас пока не трогали, но если я не смогу ехать, то меня оставят, а семью увезут дальше.

— Только не оставляйте меня! — умоляла я.

— А ты сможешь встать на ноги?

— Как-нибудь доберусь, хоть ползком, только не оставляйте!

Через два дня пришли мама с Римантасом, принесли мне одежду, и мы отправились «домой» — под забор. Рука Римантаса зажала. Я шла, вцепившись в маму и Римантаса, высоко поднимая ноги, потому что под ними ходуном ходила земля, пахнувшая травой и медом, совсем как луга в Ужпалай. Было солнечно и тепло. Мы стали спускаться по высокой крутой лестнице, с которой отлично были видны Ангара, огороженная высоким забором пристань, мусор вдоль забора, в котором копались несколько местных женщин, искавших, видимо, не оставили ли чего-нибудь, не выбросили ли эти литовцы, проклятые фашисты — другие слова о себе нам редко приходилось слышать в дороге. Снизу, как-то странно ставя ноги, на несколько ступенек поднялся Вайдеутис. Мы встретились: он сам поднимался наверх, а меня двое вели вниз. Мы остановились, обнялись и заплакали...

Скоро приехал грузовик. Римантас погрузил вещи, уложил нас с Вайдеутисом, и мы тронулись. Путь наш лежал по горам, поросшим лесом, по настоящему царству волков и медведей. Зальцманайте, сошедшая по нужде, так боялась, что ей даже почудилось, будто она видела на ветках обезьян. Только мы с Вайдеутисом, лежа в грузовике, ничего не видели. Сопровождавший нас молоденький солдатик спросил, указывая на носилки:

— Что это у вас тут?

— Носилки. Сын был парализован, не ходил, а в Зарске встал на ноги, — объяснила мама.

Солдатик хватъ носилки и выбросил за борт.

— Что вы делаете! — только и успела крикнуть мама.

— А у нас такая примета: начал человек ходить — выбрасывай костыли. Я выбросил носилки, вот ваш сын больше и не ляжет — некуда! — расхохотался солдат.

— Дай Бог, дай Бог, — только и сказала мама.

Наконец мы подъехали к пристани на берегу Лены. Городок назывался Осетров. Переночевали в бараке, потому что снова лил дождь. На другой день снесли свои пожитки к реке, где пароход «Ленин» ждал последней партии, с которой мы и приехали.

Нашу семью, поскольку у нас было двое больных, разместили в каюте. Новая дорога показалась нам довольно интересной. Пароход плыл по огромной реке Лене. Юргис Масюлис на своем «Хонере» играл популярные мелодии, места было много, начались танцы. Когда какой-нибудь парень приглашал меня танцевать, я спрашивала: «Ног не оттопчешь?» Я ведь ехала босая. По этому поводу Чарнецкене, жена бывшего посла Литвы в Италии, рассказала историю в двух частях. Бывший министр просвещения Литвы Тонкунас решил провести свой медовый месяц в Риме. С молодой женой он остановился в литовском посольстве. Как раз в это время Чарнецкисы получили билеты в королевскую ложу театра «Ла Скала», и Чарнецкене предложила молодым гостям воспользоваться их билетами.

— И вот иду я летом 1941 года по улице в Барнауле и ташу на плечах полмешка картошки, — продолжала свой рассказ Чарнецкене, — смотрю, навстречу мне идут, судя по всему, литовцы. Вдруг женщина остановилась и спрашивает: «А вы случайно не госпожа Чарнецкене?» — «Она самая», — отвечаю с американским акцентом. «Так почему же вы босая?» — «Да вот сменяла туфли на картошку», — весело отвечаю я. «Я Тонкунене. Помните, в Италии во время нашего свадебного путеше-

ствия вы доставили нам огромную радость — уступили королевскую ложу?» — «Как же, помню». — «Прошу вас, примерьте мои туфли!» Я примерила, туфли были мне впору. «Вот и носите на здоровье!» — сказала Тонкунене. «А как же вы? Я не могу принять такой подарок». — «Вы подарили нам тогда королевскую ложу!» — возразила Тонкунене и, попросившись, удалилась босая.

— Мне не только в тот раз повезло, — весело продолжала Чарнецкене. — Иду я как-то снова босая — променяла на полмешка картошки и туфли Тонкунене тоже — и встречаю господина Масюлиса. «Куда ж это вы босая?» — «Променяла туфли на картошку». — «Пошли, я могу вас обуть, потому что сам мастерю босоножки на деревянной подошве, а верх шью из материи, которую мне подкидывают наши литовские женщины». — «Ой, как удобно!» — говорю я, померив. Так у меня появилась обувь, и на этот раз надолго, потому что за эти деревяшки никто мне и одной картофелины не давал.

На берегах то тут, то там стали появляться живописные скалы. Они гордо высились, напоминая то нависшие над водой замки, то застывшие человеческие фигуры. Назывались они почему-то «Ленские щеки». Вся наша семья, расположившись на палубе, с интересом рассматривала эти фантастические каменные изваяния.

Римантас набрасывал карандашом отдельные эскизы, стараясь воссоздать картину битвы при Грюнвальде. На маленьких клочках бумаги рисовал всадников, потом все это свел воедино. Люди приходили, смотрели, всем нравилось.

Однажды Дануте Банюлите прибежала, держа в руках мой чулок с табаком. Ее мама обнаружила этот чулок и принялась выведывать:

— Дана, чей это табак?

— Юратин.

— Пойди и отдай ей.

Моя мама, увидев этот чулок у меня, в свою очередь поинтересовалась, чей он.

— Данутин.

— Иди немедленно и отдай ей!

Так злополучный чулок с табаком переходил от меня к Дануте и обратно. На том же пароходе плыла и тетька Кама Вайткавичене с сыновьями Костасом и еще совсем маленьким Пятрюкасом. Была тут и семья Стасиса Гасюнаса, налогового инспектора из Рокишкиса. Охранники нас уже больше не сопровождали, видимо, за нас отвечал теперь капитан корабля. А мы уже так привыкли к тому, что нас куда-то везут, что никто и не помышлял бежать. Нас кормили то пшенной, то перловой кашей, дополнительные порции которых мы покупали у евреев по пятьдесят копеек. Получали мы и хлебную норму — по 450 граммов на человека. В общем, не голодали. Мама еще в Камне купила маленькую бутылочку конопляного масла и иногда на закуску наливала чайную ложечку на хлеб. Было страшно вкусно. Мне до сих пор кажется, что ничего вкуснее я в жизни не ела. Прежде чем откусить, мы долго с удовольствием нюхали пахнувший конопляным маслом хлеб.

Неожиданно пароход остановился, и опустили трап. Оказалось, что кончилось топливо и надо погрузить дрова. Кучи их были заготовлены на берегу. Кто будет грузить, получит дополнительную порцию хлеба и каши. Долго просить не пришлось. Нашлись охотники не столько грузить, сколько есть. Одни грузили дрова, другие гуляли на берегу. Мы заработали по пачке папирос «Парашют» и по два с половиной килограмма аппетитного хлеба.

Наконец приплыли в Якутск — столицу Якутии. Речники объяснили нам, что город километрах в семи от пристани, и разрешили погулять по берегу. Пароходу предстояло простоять тут двое суток. Юргис Масюлис, Балис Капушинскас и еще несколько парней пошли в город. Вернувшись, рассказали, что были в ресторане «Северный», где без всяких карточек вкусно поели и даже опрокинули по рюмке. А я тем временем встала в

очередь к киоску, где продавали соленую красную рыбу — лосося. Когда подошла моя очередь и мне уже взвесили, я обнаружила, что из моего кармана исчез кошелек с деньгами. Пятьдесят рублей, последние пятьдесят рублей! Этот кошелек мне подарила моя школьная подруга Гене Линкявичюте по случаю окончания гимназии. Я отошла от прилавка ни с чем, задыхаясь от слез. Рассказала маме, какая беда стряслась со мной.

— Дай Бог, чтобы больших бед не было! Проживем и без рыбы, — успокаивала меня мама.

Мы встретили Ульямперене, мать тех братьев, которые всю дорогу нам помогали. Увидев меня, она удивилась:

— Господи, так ваша доченька жива?! А нам сказали, что она умерла. А где сын?

— Ушел рыбу ловить, — сказала мама.

— Я про того спрашиваю, который парализован.

— Вот он-то и ушел, он уже ходит!

— А люди еще говорят, что Бога нет. Один только Бог способен такие чудеса творить!

Повстречали мы и Аугустинаса Грицюса с женой Ошкинайте и дочкой Лаймой. Он сказал, что написал Палецкису и теперь ждет ответа.

Через пару дней к нашему пароходу прицепили баржу, и мы поплыли дальше. Мы уже довольно далеко отплыли от берега, когда увидели Грицюса. Он бежал по берегу и размахивал какими-то бумагами. Пароход так пыхтел и тарыхтел, что мы не слышали его слов.

Снова продолжалась долгая, скучная дорога. На берегах росли кусты красной смородины, на которых висели грозди крупных красных ягод. Русские показали нам места, где рос дикий лук, называемый тут черемша. Мы нарвали листьев этой черемши, резали их и клали на хлеб. Иметь бы еще растительное масло! Раз я заметила, что в кухне на подоконнике стоит бутылка с маслом, и сказала об этом Владасу Казеле. Бутылка стояла уже давно, никто к ней не прикасался. Может, забыли? На кух-

не работали две незамужних сестры Варнайте. В кашу немножко масла добавляли, но сколько было положено, никто не знал, а мы не раз видели, что сестры что-то выносят из кухни.

— Владас, давай утащим масло, — предложила я.

Он согласился. Я стояла на страже, а он тем временем, когда в кухне никого не было, потихоньку взял с подоконника масло, сунул под пиджак и исчез в трюме баржи. Я ждала, когда же моя симпатия принесет мне часть масла, но так и не дождалась. Через несколько дней, повстречав его на палубе, я поинтересовалась, где моя доля.

— Какая твоя доля? Я украл, значит, масло мое.

Корабль плыл, мы грузили дрова, собирали ягоды, носили чулок с табаком от Даны ко мне и обратно. Раз Римантас сказал, что меня зовет мама. Я пошла в каюту.

— Какая наглость, — сказала мама, — сесть перед окном и курить!

А я и не заметила, что курю под окном нашей каюты. Я курила уже как заядлый курильщик, голова больше не кружилась, и от дыма не возникали в воображении картины Литвы.

Юргис играл на аккордеоне, молодежь танцевала. В Якутске через постпредство мы получили посылки польского Красного Креста. В посылках была такая хорошая мука, что ее и варить не надо было — зальешь горячей водой — и уже отличные клецки. Такими клецками Янушас Каулакис угостил и меня. Янушас был знаком с моей двоюродной сестрой Лигией Безумавичюте, дочерью папиного брата. Мой папа считал себя литовцем и был Витаутасом Бичюнасом, а его брат — поляком и звали его Генрикас Безумавичюс.

На нашем пароходе умер литовец, фамилии не знаю. Завернули его в простыню и похоронили на берегу Лены. Мужчины сколотили из березок крест. Проехали каменноугольные копи, это место называлось Сангарай, там стояло несколько двухэтажных деревянных барачков

и громоздились горы каменного угля — такие огромные, словно черные обгоревшие вулканы. От Сангарая река становилась шире, и нас раскачивало. Как только ветер усиливался, поднимались волны, так что даже наши койки трещали. Однажды, когда мы грузили дрова, я вышла с чайником, чтобы набрать ягод. Уже был полярный день, ночи стояли светлые, и были хорошо видны большие гроздья смородины. Собираю ягоды и вдруг слышу — совсем рядом трещат ветви. Я крикнула: «Кто тут собирает мои ягоды?» Вдруг какой-то великан, отдуваясь и ворча, отпрянул, продираясь сквозь чащу. Медведь! Видимо, тоже пришел полакомиться ягодами.

Проехали поселок Булун. Пароход причалил к берегу, спустили трап. Комендант, сопровождавший нас только от Якутска, прочел фамилии тех, кому выходить на берег. В список попал и тот еврей, который все повторял, что нас везут в Америку. Увидев, что он спускается по трапу с вещами, я спросила в шутку:

— Что, уже Америка?

— Не успели, барышня. На тот год точно отвезут — помяните мое слово.

Немного проплыли и оставили на берегу еще часть литовцев. Потом остановились на мысе Быкова. Вместе с другими тут сошел и Лявушас. Шел дождь со снегом, на длинном, как могила, острове стояло несколько крестов. Я встала на колени на койке и взмолилась: «Господи, хоть на край света, только не сюда! Не дай нас высадить тут!» Я просила Бога, не понимая, что это и есть край света. Куда же дальше? Но Бог меня услышал. Высадили еще некоторых литовцев, а нас повезли в бухту Тикси. Я хотела чайником зачерпнуть морской воды, но порыв ветра подхватил крышку, и она, как капустный лист, пошла на дно моря Лаптевых.

Подплыл грузовой катер «Тиксинец», и нам велели пересесть на него. Туда перешли не только ссыльные литовцы, но и завербованные русские. Умер еще один литовец — Шагамога. Матросы завернули его в простыню,

связали веревками, опустили в воду, прицепили к лодке и поплыли к берегу. Вернулись очень скоро. Наверно, привязали камень и опустили на дно. Поднялся ураган, пришлось ждать, пока не стихнет. 22 августа наш пароход продолжил путь. Хотя море казалось спокойным, нас сильно качало — чувствовалось дыхание моря. Плыли мы еще двое суток. Наконец остановились. Нас уже ждали баржи и несколько катеров. Сложили свои вещи на баржи, и катера потащили их в устье реки. Яны. Той самой Яны, о которой учитель истории Стрельчюнас говорил:

— Далеко на севере, дети, очень далеко на севере, течет такая река Яна — барышня Яна. Ой-ой-ой, как там холодно! А на берегу живет такой зверек горностаей...

Вот и увидела я эту «барышню Яну»! Дельта Яны расходится на три рукава. Суда плыли по основному руслу — Коугастаху. Километров через десять наша баржа остановилась. Зачитали двести фамилий. Были среди них и мы. На баржах осталось еще человек четыреста. Катера потащили их дальше. Взять табак я побоялась, и мой чулок отправился с Даной Банюлите. Когда баржа уже отплыла, я вспомнила, что у Даны остался и прелестный мамин японский портсигар. Изо всех сил я крикнула: «Портсигар отдай!» Дануте услышала, бросила мне его, но он не долетел, плюхнулся в воду и пошел ко дну. Мы с тоской смотрели по сторонам. Кругом абсолютно голая тундра, кое-где валялись принесенные водой серые бревна. Мы увидели две большие солдатские палатки, в которых обосновались привезенные из Ленинграда финны и немцы. На нас набросились комары. Они лезли в глаза, в нос, в рот — всюду, где чуяли обнаженное место. Я была босая, от холода болели ноги. Что делать? Как будем жить? Чем питаться? Нам тоже привезли палатки — огромные, солдатские. Мужчины бросились их ставить. Женщины собирали бревна и стелили их на землю вместо пола. Поставили по две железных печурки. В двух больших палатках должно было разместиться по восемь-

десять человек, а в меньшей — сорок. Выяснилось, что тут нам и придется жить. Когда восемьдесят человек стоят — ничего страшного, но как всем лечь? Кто-то подсчитал — на человека приходится полметра площади. На четверых мы получили место шириной метр и длиной два метра. Поскольку еще продолжался полярный день, мы решили, что двое будут работать, а другие двое спать. Но Вайдас работать еще не мог, он с трудом ходил. Если во сне я нечаянно касалась отца Норкене, у которого вся голова была в нарывах, старик изо всех сил толкал меня.

Первым делом надо было разгрузить баржу, где были доски, мука и мешки с солью, той самой каменной солью, которую мы как какую-то драгоценность везли в такую даль. Подплыли еще несколько барж с сетями, бревнами и все той же солью. Выгрузив первую партию соли и ссыпав ее в кучу, мы прихватили с собой мешки. По тундре, где в земле на глубине уже десять сантиметров поблескивал лед, в туфлях не походишь, а босиком тем более. Мы постирали мешки в реке и сделали из них портянки. Обмотав ими ноги, отправились в тундру собирать дрова. Собирали и складывали конусом, чтобы они подсохли. Когда появлялось солнце и стихал ветер, было не так холодно. Возникал соблазн скинуть теплую одежду, чтобы солнечные лучи согрели тело — было такое ощущение, что у нас даже кости замерзли. Но делать это ни в коем случае нельзя было, потому что немедленно налегали тучи комаров. Прогонял их только ветер, причем дул он почти всегда со стороны Северного Ледовитого океана. Тогда Яна ошетикивалась, словно кто-то причесывал ее против шерсти. Потом эта мелкая рябь превращалась в большие волны — доносилось дыхание океана. Вода в Яне становилась соленой, высоко поднималась и выходила из берегов. Черные тучи внезапно заслоняли солнце, и мокрый снег крупными хлопьями падал на землю, и тут же начинался проливной дождь. Через несколько минут буря стихала и снова все успока-

ивалось, будто ничего и не было. Только мы дрожали, промокшие до костей. Негде было высушить одежду. В палатке стояли две железные печурки, но что-нибудь сварить на них или посушить могли лишь те, у кого были маленькие дети. Поэтому, раздевшись, мы вешали одежду на шест возле своей лежанки, а портянки, сильно отжав, снова наматывали на ноги, а когда ложились, то клали ноги в мокрых портянках другому на грудь. Мне не доводилось в жизни испытывать большие физические мучения, чем тогда, — на согревшееся тело утром натягиваешь мокрую одежду и выходишь на улицу, где почти каждые полчаса меняется погода... Холодная, мокрая одежда липла к телу, а обмотанные портянками ноги утопали в зыбком мхе, под которым были ледяная вода и вечная мерзлота. Сначала мы коченели, потом вода в портянках становилась не такой холодной, а от быстрой ходьбы по тундре мы согревались и... привыкали. Выдали по десять килограммов муки — и больше ничего, поэтому на костре варили похлебку.

Когда ночью по нужде мы вылезали из палатки, то приходилось уходить далеко в тундру — не было ни уборных, ни кустиков. Вокруг палатки, спокойно гогоча, расхаживали дикие гуси, не обращая на нас никакого внимания. Позже подростки стали палками убивать их и варить гусятину. Птицы поняли опасность и перестали подходить к палаткам.

Над нами поставили начальника — заведующего промучастком, которого сокращенно называли «завпром». Мы заметили, что здесь все названия сокращают. Русские смеялись и спрашивали нас, знаем ли мы, что такое «замком по морде». Оказывается, это означало «заместитель командира по морским делам»... Фамилия завпрома была Галковский, имя Иван. Светловолосый парень небольшого роста, немного похожий на американского киноактера Нельсона Эдга. Мама спросила у него, когда мы будем наконец жить под крышей. «Когда построят юрты», — объяснил Галковский. «А ког-

да их построят?» — не отставала мама. «Сами же вы и постройте. Не Аллах же, правда? Вот примерзнет задница ко льду, и постройте!» — «Хорошо, тогда разрешите строить и покажите, как это делается», — попросила мама. «Когда разгрузите соль, доски, бревна, сети, муку — словом, все, что сюда привезли для вашего проживания и работы, тогда сможете и юрты строить. А как это делать, покажет прораб Бреславский».

Начались холода. За ночь почва замерзала, и тундра превращалась в трещащий ковер. Днем, когда солнце немного согревало землю, почва оттаивала. Как-то раз мы с Римантасом переносили доски. И вдруг видим — на барже огромный ящик, полный эмалированных мисок. Они были не новые, но еще вполне пригодные. «Стянем? — спросил Римантас. — Дома не из чего есть». Я мигом схватила две мисочки и спрятала за пазухой. Римантас тоже взял две и сунул под мышку. Остальные разобрали другие литовцы. Вернулись домой с опаской — что скажет мама?

— Молодцы! — похвалила она. — Теперь хоть есть будет из чего.

Мы удивленно смотрели на маму. Я спросила:

— Мамочка, а помнишь, как ты мокрой веревкой лупила меня в Каунасе, когда я вытащила у тебя два лита?

— Детка, то было воровство, и, если бы я оставила его безнаказанным, ты могла бы пойти по плохой дорожке. А тут? Нет, тут не воровство! Вы принесли необходимые вещи, которые не следовало бы брать, если бы можно было купить. Думаю, Боженька вас за это не накажет.

Мы с Римантасом рассмеялись. Вообще, Римантас был моим лучшим другом и любимым братом. Мы с ним всегда находили общий язык, всегда понимали друг друга, сочувствовали и помогали один другому. Римантаса любили все. Он был бесконечно трудолюбив, просто не

умел сидеть без дела, и стол мог сколотить, и скамью, постирать мог, залатать дыру и даже что-нибудь сшить.

В тундре то тут, то там, как янтарники, светились ягоды — морошка. Были они не сладкие и не кислые, даже без запаха. Местные русские говорили, что на Севере ягоды и цветы без запаха, а женщины без любви. Кое-кто из русских привез с собой сети для ловли рыбы. Наловили и стали продавать. Из здешних рыб нам был знаком только налим, да и он был тут намного крупнее. Вот первым делом все накупили налимов и другой рыбы, похожей на сельдь. Мы были уже богатыми — получили по пятьдесят рублей аванса. Однако налим оказался очень жестким — мы и варили его, и жарили, но прожевать все равно не могли. «Их и собаки-то не едят», — сказали нам потом русские. Ну, а та похожая на селедку рыба была ряпушка, которую здесь все называли кандевкой. Эта кандевка была даже сладкой. На сковороду не надо было класть никакого жира, она сама была такая жирная, что не пригорала.

Однажды я выгружала из баржи соль. Мешок бросали на носилки, а потом вдвоем тащили. К концу рабочего дня так уставали, что, прежде чем идти домой, должны были отдохнуть. Так вот сели мы после работы на баржу и отдыхаем. Приплыл катер. Какой-то парень крикнул мне:

— Эй, красавица, хочешь рыбу?

— Хочу, — ответила я.

— Иди сюда!

Повторять приглашение не понадобилось. Я ловко перепрыгнула с баржи на катер. Парень, видимо работавший там, протянул мне огромную рыбину.

— Спасибо. Это что, налим?

— Нет, нельма.

— А-а-а... — разочарованно протянула я.

Парень весело рассмеялся. «Почему он смеется? — думала я, таща рыбу, треть которой волочилась по земле. — Может, несъедобная? С чего бы он дал хорошую и

к тому же такую большую рыбу?» Навстречу шел завпром.

— Где взяла такую нельму? — спросил он.

— Парень с катера дал.

— Надо же! — только и сказал он и, покачав головой, пошел.

Мама к нашему приходу поджарила две кандевки. Поделили по половине на каждого. Было так вкусно, что чуть язык не проглотили. Решили попробовать нельму. Почистили, сложили кусками на сковороду. Она едва начала шипеть, как из нее стал сочиться жир и переливаться через края сковороды. Мы бросились черпать жир в мисочку. А мясо жареной нельмы по вкусу напоминало курятину. Подаренной рыбы хватило на целых два дня.

Тем временем баржи мы разгрузили. Началось строительство. Двенадцать часов в день полагалось отрабатывать на казенной стройке, а потом, если позволяли силы, лепили бараки для себя. Приехал прораб Василий Антонович Бреславский. Это был прекрасный человек. Мы никогда не слышали от него грубого слова, он с уважением относился к литовским ссыльным. Мама отдала ему последнюю бутылку водки и попросила разрешить нам построить для себя отдельную юрту. Получив его «добро», мы приняли в свою компанию журналиста Юозаса Гудьургиса. Но рабочей силы не хватало, и мама предложила присоединиться к нам семье Ясявичюсов. Это были еще довольно крепкий старик Ясявичюс, сын Алюкас, молодой парень, дочь Марите — как говорится, здоровая деревенская девка, и еще вполне бодрая Ясявичене. Так и договорились: в одной половине Ясявичюсы, в другой — мы с Гудьургисом. Однако Ясявичюсы пустили на свою половину еще одну семью. Их было пятеро, и за ними закрепилась репутация не особенно честных людей.

Строительство юрты продвигалось довольно быстро. Мы, женщины, притаскивали из тундры бревна. Мужчины изготовили раму и вокруг нее поставили собран-

ные нами бревна. Из обтесанных бревен сложили пол, сделали рамы также и для окон и дверей. Потом мы нарезали «кирпичи» из уже скованного льдом мха — с виду они напоминали мне кугелис* — и выложили их вокруг юрты, прислонив под углом к доскам, чтобы они не упали. Наши «кирпичи» держались довольно прочно, но поскольку они были промерзшие, то неплотно прилегали один к другому и в щелях свистел ветер. В окна, вместо стекла, вставили натянутые на рамы мешки. Поэтому русские прозвали наш поселок Ситцевой деревней, или просто Ситцевкой. Мужчины сколотили нары. На нашей половине стояло двое двухэтажных нар для нашей семьи, а посередине — нары для Гудьюргиса. У окна, прибив парочку досок, соорудили стол. Посреди юрты стояла чугунная печка, жестианую трубу вывели через крышу. Над нарами Гудьюргиса Римантас повесил полку. Мама прибила к стене желтую шерстяную ткань — все равно никто ее не покупал. Все торопились перебраться из палаток в постоянное жилье. Как хорошо было, какими же мы были счастливыми — у нас были теперь своя крыша над головой, своя печка, возле которой можно было и согреться, и посушить одежду! Кроме того, у нас были нары, отдельные нары у каждого! Можно было вытянуться, повернуться на бок, свернуться калачиком!

Да и работать стало веселее, поскольку утром выходили из тепла. С моей ровесницей Ядзей Калковайте мы на носилках таскали ил и сыпали его на крышу будущего магазина, чтобы она не промокала под дождем. Ядзя учила меня петь польские песенки. Размахивая пустыми носилками, мы пели, и, хотя желудки были пусты, молодость брала свое. Римантас с Вайдасом работали сторожами, потому что мы выгрузили уже немало добра: дощечки для бочек, сети, веревки, инвентарь и многое другое. Римантас приносил по несколько дощечек для

* Литовское блюдо, картофельная бабка.

растопки. Как-то раз дома их увидел Вайдас. Сунул под мышку и унес обратно с криком: «Посадить меня хотите!» С Римантасом они менялись одеждой. На работу один из них ходил, закутавшись в одеяло, обернув ноги мешками, а там переодевался в тулуп другого, обувался в единственные валенки. Тот, кто уже отработал свою смену, закутывался в одеяло, оборачивал ноги мешками и шел домой. У меня все еще была моя шубка с вытертым животом, но на ногах только мешки. А в такой «обуви» долго не выдержишь, потому что мороз под пятьдесят градусов.

Мама, отломав каблуки, наматывала на туфли мешки и так ходила в тундру собирать дрова — это была ее работа. Дрова складывали конусом, а позже, когда выпадал снег, впрягались втроем — как на картине Перова «Тройка» — и везли дрова к конторе. Никто нам не объяснял, сколько положено за ту или иную работу. Вешали записку на маленьком домике — конторе, что платят деньги, и мы приходили получать, кому сколько давали. На эти деньги маме раз удалось купить хорошую рыбу. Мы засолили ее в эмалированной кастрюле и поставили на полку. Через какое-то время рыба протухла, и пришлось ее выбросить...

Ситцевка выглядела довольно красиво, все юрты выстроились вдоль берега Яны, окнами к реке, дверями к тундре. В первой от моря юрте жили ленинградские финны, во второй — ленинградские немцы, в третьей разместились клуб и морг: в одном конце юрты складывали покойников, в другом — по воскресеньям танцевала молодежь. Четвертой стояла юрта Закарявичюсов. Вайдевутис был влюблен в их дочь Генуте и проводил там все время. В пятой жили мы, а в шестой — Юозас Жильвитис и вместе с ним комендант всех литовских юрт литовский немец Инзялис. Когда Галковскому построили отдельную двухкомнатную юрту, семья Инзялиса перебралась к нему. Инзялис предоставлял Галковскому сведения о каждой литовской семье.

Пока не был еще построен магазин, раз в месяц через окошко наспех сбитого киоска каждому работающему продавали по 10,8 килограмм муки. Выстраивалась унылая очередь с котомками. Возле этого киоска стояла палатка, в которой жил сторож Николай. Фамилия его была нам неизвестна, все звали его рябым Николаем, потому что лицо его было испещрено глубокими шрамами. Кто его так разукрасил, один Бог знает, но он так и сыпал историями о золотоискателях, убийствах и грабежах, так что у нас волосы дыбом вставали и казалось, что сам Николай был их участником. Как-то раз мама, напялив мужскую шапку и надев ватные штаны, зашла к Николаю погреться. Он и спрашивает:

— А ты, парень, женат?

— Да, — отвечает мама.

— Такой молодой и уже женат? А дети есть?

— Есть.

— И сколько же?

— Трое.

— Большие?

— Старшему двадцать лет. И не парень я, а женщина!

Тот ахнул от изумления:

— Ну и баба!

А меня, подобным же образом одетую, кто-то спросил:

— Дедушка, ты последний?

Двери юрт никто даже на ночь не запирали. Однажды просыпаемся, смотрим — горит коптилка, а за столом сидит рябой Николай и курит.

— Погреться пришел. Не прогоните?

Мама разговорилась с ним, он угостил ее табаком. (Когда мы приехали, курящим выдавали норму табака или пачку папирос «Парашют».) Я тогда уже курила, не таясь. Раз сижу и мечтаю: достать бы где-нибудь хоть маленький кусочек сахара. Вот я и говорю маме:

— Угадай, чего мне больше всего хочется?

— Курить, небось?

— Ага, — соврала я, чтобы не терзать маме сердце из-за сахара.

— Что с тобой сделаешь! Кури. Если бы я сама не дымила, показала бы тебе, как курить, а так...

Однако ни табака, ни папирос больше не привозили. Выдавали нам норму плиточного чая. Мы-то без чая обходились, а якуты очень любили его и менялись с нами на рыбу. Николай приходил почти каждую ночь, дело в том, что у нас на полке он держал свой табак. Как-то раз, угостив нас, он сказал, что мы можем брать когда захотим. Придя покурить в очередной раз, страшно удивился, найдя табак нетронутым.

— Почему не курите?

— Не можем, слишком дорогой теперь табак, — ответила мама.

— Потому у вас и держу. Весь свет не угостишь.

Николай был добрым человеком, не раз спасавшим нас от настоящего голода.

Раз Гудьоргис вернулся из очереди за мукой с пустыми мешочками.

— Замерз, дико замерз, — едва выговорил он, ложась в постель.

— Может быть, у вас есть чуточка спирта? — спросила мама.

— Нет.

Он уснул. Пришел Жильвитис. Я сидела на нарах и смотрела на тяжело дышащего Гудьоргиса. Вдруг он вдохнул воздух, подержал в груди и медленно выдохнул... На его лбу блестели крупные капли пота. Он дернул головой и перестал дышать. Я закричала. Жильвитис шлепал его по щекам, тряс за плечи. Гудьоргис был мертв. К тому времени он уже распух от голода, и не хватало, видимо, только этого переохлаждения. Когда комиссия делила его вещи, то нашли грамм двести спирта... Комиссия составила акт, решала, кому что отдать, а спирт, разведя водой, члены комиссии выпили. В комиссию

входил и нечистый на руку сосед. Когда все разошлись, выяснилось, что пропали три моих летних платья. Мы не могли понять, куда они подевались, но не особенно убивались, потому что не верили, что они еще когда-нибудь понадобятся. Бывший капитан дальнего плавания Эдуардас Слесорайтис киркой выбил во льду яму, положил завернутого в простыню Гудьюргиса и засыпал льдом. Первый раз смерть настигла литовцев на берегу Яны, и первый раз я видела смерть человека. Когда солнце последний раз той осенью показалось над горизонтом, Гудьюргис позвал нас: «Пошли, взглянем на солнце. Может, кто-то из нас увидит его сегодня последний раз. Теперь оно покажется только в феврале». Мы все вышли тогда из юрты, солнышко, черкнув красной полоской по горизонту, спряталось. Для Гудьюргиса и впрямь последний раз. Может, у него было предчувствие?

Дни тянулись очень медленно. Не раз мысленно мы задавались вопросом, будем ли когда-нибудь еще есть хлеб. Дрова приносили из тундры, так что в юртах было тепло. Дни становились все короче и короче. Однажды мама колола дрова, прижала ногой палку, стукнула топором, и другой конец палки ударил ее по лицу. Брызнула кровь. Оказалось, сломан нос. С тех пор мама утратила обоняние.

Наступила настоящая зима. Метели полностью засыпали юрты, и только жестяные трубы дымили из-под снега. К счастью, дверь юрты Жильвитиса, где жила Ядзя, находилась сбоку, она одна и оставалась незанесенной, ветер старательно сметал с нее снег. Если бы не эта юрта, то после первой метели мы все были бы погребены под снегом. Ядзин брат Владас, выйдя из юрты, первым делом раскапывал проход к нашей юрте, мы, в свою очередь, откапывали Закарявичюсов, и так, помогая друг другу, мы спасались из снежного плена. Копать начинали лишь после того, как пурга стихала, так что под снегом доводилось просидеть шесть-семь дней кряду. Около юрты стояли жерди — наши дрова. Сидим под сугроба-

ми и слышим, как над головой снег скрипит — кто-то наши дрова тащит... Да и кому другому быть, как не Владасу Калковасу — все другие юрты занесены. Зло берет, ничего не можем сделать, как только ждать, пока тот же Владас не раскопает нашу дверь.

На небе стало появляться северное сияние. Известно, что могущество и величие гор не может ощутить тот, кто никогда не видел их своими глазами, точно так же никакими словами нельзя передать неповторимую красоту северного сияния. Если кто-то из нашей семьи видел его первые сполохи, то тут же бросался назад в юрту с криком: «Сияние, великолепное северное сияние!» Мы все выбегали и, запрокинув головы, не уставали дивиться этому чуду природы. А Карвялисы и Ясявичюсы удивлялись, глядя на нас: «Эти Бичюнасы снова дурака валяют! Пялятся на небо, разинув рты, ждут, что сияние туда влетит и накормит их!»

Положенной нам нормы муки хватало лишь на жиденькое пойло, и многие стали болеть цингой, слабость и пухнуть, а от распухания до смерти один шаг. Кто, заболев, ложился, тот уже больше не вставал. Люди бродили, как призраки, с трудом переставляя ноги, но изо всех сил старались двигаться. У детей ноги были в язвах, ходить они уже не могли. В юрте Жильвитиса жили муж и жена Гирчисы, учителя, с четырьмя малолетними детьми, а в ту зиму у них родился еще один мальчик. Новорожденный скоро умер. Гирчис положил тельце в коробку от масла, сунул под мышку, взял кирку, пошел на отведенное под кладбище место, пробил во льду ямку и один похоронил сыночка. И снова вспомнилось, как один из детей Гирчисов, увидев, как соседка печет блины, запищал: «Мамочка, укрой меня с головкой!» — «Почему, детка?» — спросила Гирчене. «Не могу видеть, как Гражвида будет кушать блины!» — «И меня, и меня!» — попросили остальные малыши. Гирчене натягивает голодным детям одеяло на головки и шепчет: «Придет время, детки мои дорогие, когда и мы блины печь будем!

А пока потерпите еще немножко, другие детишки тоже терпят...» Верила ли она в свои слова? Многие матери продолжали кормить своих подросших детей грудью, надеясь таким образом спасти их от голодной смерти. Морозы становились все круче, лед на речке — все толще, и вместо тряпичных окон мы вставили ледяные. Делали прорубь, опускали в нее сколоченную из палочек рамку величиной с окно и оставляли на ночь. Наутро нарастал лед толщиной сантиметров двадцать. Обламывали лишний лед по сторонам, и получалось готовое «стекло». Края льда, вставленного в оконную раму, обкладывали мокрым снегом, который моментально замерзал. Таким же образом мы заделывали и другие щели в юрте. Замерзший снег не пропускал ни холода, ни ветра. Однако в юрте топились печка, и от тепла «окна» таяли, возникшая от испарений вода стекала по стенам и по большей части замерзала, не достигнув пола. Не раз то у одного, то у другого из нас волосы примерзали к стене. Под нарами вмерзала в ледяные глыбы случайно упавшая одежда или какая-нибудь другая вещь.

Всех мучал страх, что будет, когда кончится мука. Пока не растает лед в море Лаптевых, никто ничего нам не привезет. Похлебку из казенной муки мы заправляли неочищенным молотым овсом, который мама купила в Камне, намереваясь сделать из него крупу. Тут, в Коугастахе, у соседа Ясявичюса были жернова, изготовленные из двух больших колод. Это было настоящее богатство. У многих литовцев, которые провели первый год ссылки в совхозах, еще сохранились остатки зерна, поэтому и похлебка у них была погуще. А когда мама сшила платье жене работавшего на пристани конюха и получила за это мешочек вики, у нас был настоящий праздник: бросишь горстку вики, и похлебка пахнет горохом.

В юртах становилось все холоднее, потому что все дальше приходилось ходить за дровами. К стене примерз кусок желтой шерстяной ткани, а то, что было постелено на нарах, или прогнивало, или деревенело. С пола тя-

нуло страшным холодом. У нас был большой эмалированный таз, который мама, когда мы жили еще на Алтае, выменяла у уезжавших поляков на сломанные папины золотые часики. Я бросила на пол мокрую тряпку — она мигом прилипла. Мама рассердилась:

— До сих пор хоть скользко не было! Не хватало еще, чтобы мы свернули себе шею! Теперь придется отдира́ть лед.

Сидя на нарах и поставив этот таз с теплой водой на колени, мы могли кое-что постирать. И рукам тепло, и коленям, ну, и одежда почище будет. Но вообще-то надо сказать, что голодному человеку ничего не хочется делать. Не то что работать, но даже двигаться, говорить. Помнится, говорили все медленно, растягивая слова, вроде как бы нараспев. Руки просто не поднимались ни для какого дела, а иногда охватывала такая тоска, что начинаешь плакать и не можешь остановиться. Когда мама спрашивала: «Что с тобой, детка?» — я начинала визжать и икать. Однажды мама в отчаянии даже сказала:

— Детки мои милые, знала бы я, что вас ждет такая ужасная жизнь, маленькими удушила бы!..

«Может, оно и правда было бы лучше», — пронзила меня мысль.

Раз в месяц мы получали по одной свече. Большим юртам полагалось по две. Использовались они исключительно для того, чтобы искать вшей. Сидит, к примеру, капитан дальнего плавания Эдуардас Слесорайтис перед свечкой, к нему приникли жена и дочь и давят ногтями вшей и гнид... Учитель Гирчис нетерпеливо топчется вокруг них:

— Поторопись, Слесорайтис! Знаешь ведь, какая большая у меня семья! В другой раз закончишь.

Так свеча переходила от одной семьи к другой. Наколов из досок лучин, мы, молодежь, устраивались на нарах у Ядзи, брали их коричневым японским фарфоровый поднос с журавлями и болтали, время от времени снимая с лучин угольки. Вместе с нами обычно сидел и

шестнадцатилетний Юргис Гасюнас. Мы мечтали, вспоминали, как жили в Литве.

Днем те, кто еще держался на ногах, работали. Вайдеутис был сторожем, Римантас возил дрова. Многие работали на строительстве. Один умирал, на его место заступал другой. Наконец-то построили баню. Как мы ее ждали — хоть от вшей спасемся! Теперь Римантас возил в баню воду. Надевал тулуп Даумантаса, на голову напяливал мою шапку, нос завязывал моим же красным шарфиком из ангорской шерсти, который от дыхания покрывался инеем и примерзал к носу. Никто нам не объяснил, что на таком морозе нельзя завязывать нос. Поэтому у него, бедняги, под носом всегда была ранка. Впрягшись в сани, Римас тащил обледеневшую бочку с водой на крутой берег. Река уже была покрыта двухметровым слоем льда, и добраться до воды было трудным делом.

Поскольку мама хорошо шила, то надумала идти зарабатывать хлеб на пристань. Каждый божий день она отправлялась туда, а если мела пурга, то и на ночь оставалась. Когда мама наконец возвращалась, мы с нетерпением посматривали на ее портфель, в котором она всегда что-то приносила: или хлебные корки, или кусочки лепешек, которые бросали русские дети. Лепешки пекли из муки, воды и соли, прямо на плите, без сковороды или там жира. Но как вкусно было! Рассказывала мама и разные истории. В одной юрте, где она шила, было много мужиков. Сидят они за столом, режутся в карты, утопая в табачном дыму... Вдруг открывается дверь, и входит молодая финночка. Здравается. Один парень и говорит ей:

— А-а-а, Катя! Смелее. Снимай телогрейку и садись. Та разделась и села на краешек скамьи.

— Кто это? — спросил один.

— Как это кто? Будет вроде жены — приготовит поест, постирает, ну и в постели ноги согреет, спину почесет! — вульгарно хохотнул парень.

Мама обмерла:

— Девочка, ты что? С ума сошла?

— А! — махнула она рукой. — Все одно с голоду подышать, а тут еще поживу. А там видно будет. Не убьют же меня, правда? — шептала она маме. Мужики так были заняты картами и сквернословием, что и не слышали, о чем говорили женщины.

Вечером будущий муж бросил на пол пару телогреек:

— Ну, Катька, так вроде тебя зовут, стели. Пошли спать!

Это была Катина свадьба. А наутро жених хвастался:

— Ну и Катька! Ну и жена! Представляете, мужики, она еще невинной была! Ну и чудеса!

Все удивлялись и хохотали.

Шить маму больше как-то не приглашали, кончились ее дополнительные приработки, кончились и наши сравнительно сытые денечки. Теперь мама ходила на пристань, только чтобы что-нибудь выменять. Раз Климаускене, которая была совсем хвора и все время сидела на нарах, а ее дочка Дайна была еще маленькой, попросила маму продать заодно и ботинки ее мужа. Мама показала их в одной юрте, потом в другой и не заметила, как один ботинок куда-то подевался. Кому понадобился один ботинок? Может, вернувшемуся без ноги с фронта? А может, просто кто-то пошутил... Еще у нас оставалось кое-что из столового серебра: половник, ложка, шесть маленьких ложечек и шесть вилок с ножами. И еще тот чудесный расшитый тетей Оните халат и черное муаровое бальное платье с букетиком искусственных цветов на груди. Русские женщины, глядя на халат, вздыхали: «Какая красота! Сколько подушечек можно было бы сшить!» Однако такая одежда никому не была нужна, хлопчатобумажное платьице, может, кто-то еще и поменял бы на горсть муки... В бальное платье я иногда наряжалась и, напевая вальс, кружилась, а потом падала на нары, вспоминала Каунас, гимназию, папу, кузин, Ужпаляй... Правда, у мамы был еще флакон французских

духов, который, хотя и был наглухо запечатан, источал приятный запах.

Дни тянулись бесконечной унылой чередой. В юртах дети постарше постоянно крутились около плиты, жадно наблюдая за тем, что на ней происходит. Помню, бывший адвокат Мялене, что-то выменяв на кусочек оленины, варила ее в кастрюле. Когда мясо уже было готово, оно исчезло из кастрюли. Мялене смотрела на обступивших плиту детей умоляющим взглядом: «Кто утащил мое мясо? Ну, признавайтесь... Если это сделал ты, Напалис, я даже суп есть не смогу...» Этот Напалис, уже подросток, во сне мочился, поэтому спал на нижних нарах, чтобы моча не капала на других. От него всегда так воняло, что, проходя мимо, мы затыкали нос. Однако дети стояли, выпучив глаза, и молчали.

Начала работать баня. Первейшая забота — как вывести вшей. Кто-то сказал, что надо голову натереть керосином, а потом промыть. Мы так и сделали. Свой короткий ежик я промыла без особого труда. А мама после керосина намылила волосы, и они стали очень жесткими, скатались в один большой узел, мама бросилась мыть их теплой водой, но она, как назло, кончилась. Мама ходила по бане с этим колтуном на голове, умоляя банщика нагреть еще хоть полведра воды. Пока ее грели, мы веселились, делая из маминых волос башни, волны и другие композиции.

— Жаль, что, работая в литовском театре, я не знала, как без труда можно сделать любой парик. Можно было бы воспользоваться этой «рационализацией», — сказала мама.

Жена капитана дальнего плавания Эдуардаса Слесорайтиса никак не могла отказаться от «комфорта». Со своим семейством она говорила по-немецки, а так как одеться было не во что, то предпочитала целые дни сидеть на нарах, укрывшись оленьей шкурой, и изящно курила «сигарету» — завернутую в клочок газеты смесь мха с махоркой. Кто-то дал ей свое старое платье, но и оно,

видимо, пошло туда же, куда и другие тряпки, — их дочка, скромная и красивая девочка Сигита, идя справлять нужду, просила: «Мама, лепхен!» (по-немецки это значит — тряпочку), и мама, оторвав от какой-нибудь одежды лоскут, протягивала ей «лепхен», чтобы потереться. Слесорайтене любила рассказывать о поездках в разные страны, о фильмах, которые там видела, о всевозможных приключениях.

Когда я ходила к Ядзе, то всегда навещала Гасюна-са, отца Юргиса, который уже не вставал с нар. Я старалась поднять ему настроение, придумывала разные истории. Однажды я очень убедительно рассказала, что на пристани сама слышала по радио, якобы война уже скоро кончится и англичане требуют, чтобы нас, ни в чем не повинных людей, вернули домой, а если не домой, то — как поляков — в английские колонии... Очевидно, это вселяло в него надежду, и он думал, что еще увидит Литву. Глаза его начинали блестеть, на лице появлялась улыбка. Он всегда ждал меня, близкие рассказали, что перед смертью он спросил: «А милой Юрате тут нет?» Примерно так же я поднимала настроение и Ядзиному отцу, который тоже слег. Мы ходили из юрты в юрту, чтобы не так ощущать голод, чтобы не видеть, как умирают изголодавшиеся.

Изредка на семью выдавали по баночке американских консервов и сухую, очень соленую колбасу, разрезать которую было невозможно, приходилось ее строгать. Из пустых консервных банок Римантас делал людям половники и кружки.

Однажды пришел Жильвитис и велел всем привести себя в порядок, потому что из района приехала комиссия проверить, как мы живем. И правда, на упряжке собач пожаловал тепло одетый якут и вместе с завпромом Галковским обошел юрты. Спрашивал, в чем мы испытываем нужду. Что на это сказать?! Сообщил, что наши союзники американцы снова прислали продукты и одежду. Кроме муки, кусочка колбасы и баночки консервов,

мы получим теперь молочный порошок, яичный порошок, крупу. Когда он укатил, мы увидели, что со стороны пристани лошаденка что-то везет. Прихватив мешочки, мы бросились в магазин, где на человека получили двухсотграммовую баночку консервов. Оставили их на Рождество.

Кроме жидкой похлебki, есть у нас было нечего. На плите постоянно стоял чайник, в который мы подбрасывали лед, так что он все время кипел, поскольку вьюшек у нас не было. Когда кто-нибудь умирал, собравшиеся качали головами, говоря: «Отмучался. Теперь небось очередь кого-то из нашей семьи». Главной заботой было сколотить какой-никакой гроб. Умершего выносили в другой конец клуба.

Однажды мама взяла ножи, вилки и ложки и пошла на пристань в надежде получить в обмен что-нибудь съедобное. Бушевала страшная вьюга, дороги не было видно. Мимо пронеслась лошадь и споткнулась, угодив в прорубь. Мама продолжала свой путь. В проруби черпала воду табельщица Аня Лижина, подружка Галковского. Увидев маму, она спросила:

— Куда это вы собрались?

— Менять вилки и ложки на рыбу.

— Погибнете в такую погоду! Пошли, я дам вам рыбу.

Мама пошла за ней и за две серебряных ложки получила десять кандевок. Мама выдавала нам рыбу крошечными порциями, но через два дня мы уже только косточки лепили к стенкам печки, а когда они таким образом обжаривались, то грызли их. Когда пурга стихла, мама снова пошла на пристань. Зайдя в одну юрту, предложила ложки в обмен на любые продукты. Однако у русских и у самих-то мало что было, поэтому они отказались — им, дескать, такие дорогие вещи ни к чему. Зашла мама в другую юрту. Там за столом хлебала борщ толстая, как мама сказала, похожая на жабу, тетка. Ког-

да мама предложила ей поменять ложки на что-нибудь съедобное, та ухмыльнулась и испитым голосом сказала:

— С голоду помирать будешь — задаром отдашь.

— Вам-то уж точно не отдам, — сказала мама, — лучше в прорубь брошу, но не отдам!

И ушла. Так и остались у нас четыре серебряных столовых ложки и шесть чайных. Не раз рябой Николай, увидев, что у нас уже совсем ничего не осталось, куда-то исчезал и вскоре появлялся с буханкой хлеба под мышкой:

— Чай у вас есть? Так давайте пить, я тут немножко хлеба раздобыл, приглашаю за компанию!

Так этот добрый человек не раз отводил от нас голод.

Иногда приходили мужики с пристани. Откроют дверь юрты и стоят. Мама спрашивает:

— Чего надо?

— Невесту...

— Невеста есть, да только не для тебя, жених дорогой.

— Но у меня есть... мешки муки... мешки сахара... ящики масла. Жила бы, как принцесса!

— Так давно надо было жениться!

— Была у меня жена, только я ее в карты проиграл...

— Видишь! А еще хочешь мою дочку получить! Ступай себе, дружок, на все четыре стороны! Может, в другом месте найдешь себе невесту.

— Вашей я не проиграю... Честное слово, не проиграю! Ваши девушки не такие, их нельзя проигрывать, — еще пытается убеждать «жених».

Один уходит, через какое-то время появляется другой и снова стоит в дверях.

Шел к концу 1942 год. Весь поселок готовился к Рождеству. Мы берегли муку, чтобы хоть на праздник было что поесть. Раз вечером подняла соседка простыню, которая отделяла наш угол, называемый комнатой, и спрашивает:

— У вас много муки?

Мама подняла мешок, а там муки чуть-чуть. И это мы собирали пару месяцев!

— Вот и у меня столько же, — сказала, ухмыляясь, соседка.

Римантас решил из разных дощечек сделать стенку, потому что соседка тащила у нас все подряд. В этой семье и друг у друга воровали. Иногда среди ночи было слышно, как кто-то громко хрумкает, а потом доносился мужской голос: «Корова, снова у детей сахар сперла!» — «А кто за ними присмотрит, если я помру?» — повторяла соседка слова Калковене. Там дело обстояло так: когда старшие дети уходили на работу, Калковене раскладывала в консервные банки всю полученную норму продуктов и прятала в юрте за нарами, а потом вытаскивала и съедала вместе с младшей дочкой. Когда люди ее стыдили, что она объедает собственных детей, она всегда отвечала: «А кто за ними присмотрит, когда я помру?»

Отличались от наших и другие привычки соседей по юрте. Так, ночью мы осторожно, чтобы никто не слышал, отправляли малую нужду в консервную баночку и тихо выливали в ведро. А все соседи гремели, несколько не стесняясь. Марите Ясевичюте еще и посмеивалась:

— Бичюнасы по-барски ссут, сначала измерят, только потом в ведро сольют! Мы — по-простецки, сливаем, будто за сарай зашли.

Вечерами в юрты заживал Инзялис — разведать, пронюхать, где что происходит. Люди жаловались, что голодают. Смотрел он на уже не поднимающихся, измученных цингой и голодом литовцев, кривил свою отвисшую губу и сквозь зубы цедил:

— У вас на лбах смертельная метка, вы все здесь померете! Почему мне одной рыбы на день хватает? А вам не хватает!

Раз Микис Вайшвила схватил топор и бросился на Инзялиса. Мама его удержала:

— Не надо, Микис, не марай руки и совесть об эту продажную шкуру. Сама судьба отомстит ему!

Молодой, горячий, изголодавшийся парень все-таки послушался мамы.

Изредка приезжал прораб Бреславский и непременно заходил в нашу юрту. Наверно, ему было интересно поговорить с мамой — умной и энергичной женщиной. Он всякий раз спрашивал:

— Ну, Наталья Матвеевна, как живете?

— Хорошо, — отвечала мама.

— Как это хорошо? Вам же есть нечего?

— Ну и что? Сегодня нечего, а завтра проснемся, глядишь, и будет. А вот если человек возвращается с фронта, скажем, без ноги, тогда дело плохо: ложится он — ноги нет, просыпается — ее по-прежнему нет и уже никогда не будет.

Вечерами заходила Геновайте Валёнене, с которой мы вместе были в Камне, та самая, что пыталась убедать в Литву. Приближался праздник, люди экономили свечи. Бывшая учительница Чибилене учила детей петь и танцевать. Пластичнее всех была Дайна Климаускайте. К детскому утреннику я сочинила песенку, которая пелась на известную народную мелодию. Начиналась она так:

Мы в большом холодном доме, ой!

Репетицию устроим, ой!

Что умеем, все покажем, ой!

О себе самих расскажем, ой, ой, ой, ой!

Дальше шел такой же непритязательный рассказ о нашем житье-бытье: как мотались по России, как голодали и как, несмотря на все лишения и унижения, в свободные минуты пели и танцевали, не предавались отчаянию и вот теперь встречаем Новый год.

Я сочинила еще одну песенку, «взрослую», и сама ее исполнила:

Дяде Сэму трудно очень —

Хочет каждому помочь он.

Знает, где мы были летом,
Но сейчас забыл об этом.
О-ча, о-ча, дай ответ,
То ли было, то ли нет.
В дымной юрте мы сидели
И сырую рыбу ели.
Так якутами мы станем
И готовить перестанем.
О-ча, о-ча, дай ответ,
То ли было, то ли нет.
В небесах горит сиянье,
На земле лишь промерзанье.
На собаках власть летает,
А у нас силенки тают.
О-ча, о-ча, дай ответ,
То ли было, то ли нет.
Но пора отбросить посох
И поехать на колесах.
Навсегда покинуть Яну
И в родном краю воспрянуть.
О-ча, о-ча, дай ответ,
То ли будет, то ли нет.

Рождество мы решили праздновать вместе с Валёнене. Она раздобыла несколько рыб, из консервов и сбереженной к празднику муки решили сделать пельмени. Да, почти настоящие пельмени! Все сели за белый, покрытый простыней стол, мама даже вилки положила. Ели медленно, смакуя, подолгу жевали, чтобы как можно лучше почувствовать вкус. Вспомнили дом, нарядную елку, сочельниковое угощение, пироги с сушеными боровиками, сладкий клюквенный кисель. Когда от воспоминаний мы вернулись к реальности, то обнаружили, что все едим руками, хотя на столе лежат вилки. После трапезы, чтобы было теплее ногам, устроились на нарах, свернувшись калачиком, и Валёнене, давно обещавшая сделать это, принялась наконец рассказывать, как они с Коцинене бежали из Камня в Литву. У их отцов одинаковые имена (они обе Карловны), поэтому решили говорить, что они сестры. Бывшая учительница Валёнене —

светловолосая, с химической завивкой, слегка рябая — несколько дней не умывалась, не причесывалась, обрядилась в одежду местных русских, повязала платок и стала очень похожа на здешних колхозниц. Она должна была изображать тугую на ухо дурочку из далекой деревни. Коцинене, элегантную жену еврея-ювелира, бывшую танцовщицу в кабаре, кстати отлично говорившую по-русски, сложнее было превратить в простую колхозницу, но в конце концов все же удалось. У нее было много дорогих украшений. Часть их она продала, часть выменяла на одежду, а остальные завернула в узелок. Узнав название колхоза, находившегося далеко за рекой, фамилии председателя и секретаря парторганизации, без паспортов, колхозникам их и не выдавали, в один прекрасный летний день, «одолжив» лодку, они поплыли вниз по течению в сторону Новосибирска. Грести не надо было. Завернув узелок с драгоценностями в одежду, положили его на корме, прикрыв ветками. План был такой: Валёнене — гложущая деревенская дурочка, и сестра, Коцинене, везет ее в Новосибирск к врачу, потому что уши стали так болеть, что та криком кричит. Течение несло лодку, проплыли мимо нескольких небольших деревенок, мимо города Бердска и приближались к Новосибирску.

Когда проплывали под мостом, их заметил постовой солдат и стал кричать: «Плывите к берегу, а то буду стрелять!» Они оцепенели от ужаса. Пришлось подчиниться. За время пути научились немного грести и рулить. «Рук мы специально не мыли, — продолжала свой рассказ Валёнене. — Чтобы выглядеть страшнее, всякий раз, подплывая к берегу, еще натирали их илом. Ногти обкусали. От весел появились мозоли, которые тут же лопались и гноились. От всего этого мы еще больше походили на колхозниц».

Получив строгий приказ, женщины подплыли к берегу. Скорее всего, куда-нибудь погонят. Брать ли с собой драгоценности? Решили не брать: может, как-нибудь

удастся выпутаться. Только бы не заглянули в рот Коцинене — у нее было несколько золотых коронок. Заметят — обман обнаружится: откуда у нищенок золото и зачем оно им?! А найдут драгоценности — им тоже как...

Солдат уже успел доложить куда надо, и на берегу их поджидали два гэбэшника с винтовками. «Вышли мы из лодки, — продолжала Валёнене, — и, дрожа от страха, последовали за ними. Я озиралась по сторонам, как дикарка, и показывала пальцем то на каменные дома, то на проезжающую мимо машину. Дети и несколько бабок шли за нами и кричали: «Шпионов поймали! Шпионов поймали!» Я прикидывалась глупой глухой колхозницей. Коцинене то и дело дергала меня за подол и шипела: «Женька, дурочка, не отставай, не глазей по сторонам, видишь, начальники ведут, скорее!» Привели нас в управление. Подержали у дверей, потом ввели в кабинет начальника. Села я на диван так, будто понятия не имела, что бывает мебель с пружинами, развела руками, выпучила глаза и разинула рот. Разинула рот смело, широко — благо, у меня не было золотых зубов. Ухватилась за диван и давай подпрыгивать. «Сиди тихо, дурочка!» — кричала мне в ухо Коцинене. «А-а-а-а?» — якобы не слышала и не понимала я. Начальник расспрашивал, кто мы такие, откуда и куда путь держим. Коцинене рассказывала выдуманную историю: фамилия наша — Плюхины, обе незамужние. Начальник и мне задавал вопросы, но я изображала глухую. Коцинене снова толкнула меня в бок. «Тебя спрашивают, дурочка!» — снова кричала она мне в ухо. «А-а-а-а?..» — мычала я. Солдат обыскал наши карманы. У Коцинене было сто рублей с копейками, завязанные в узелок, и больше ничего. До вечера нас продержали, потом отпустили. Мы шли, озираясь по сторонам, будто из любопытства, а на самом деле смотрели, не следят ли за нами. Выйдя на улицу, свернули к реке. Сохранились ли наши драгоценности? Не пришло ли кому-то в голову,

что под ветками что-то спрятано? К счастью, все было на месте.

Прихватив свое богатство, мы поспешили на вокзал. Коцинене подозвала уборщицу, показала ей часики и попросила на них купить два билета до Свердловска, объяснив, что ей надо меня, дурочку, свезти к врачу. Уборщица мигом обернулась — билеты были у нас в кармане, хотя возле кассы стояли толпы людей с детьми и с узлами. Вечером мы втиснулись в вагон и неплохо устроились. С собой у нас было немножко сухарей и цинковая кастрюлька для кипятка. Поезд тронулся. Русские, видя, какую дурочку сестра везет к врачу, сочувствовали нам и старались всячески помочь. Коцинене всем говорила, что очень боится, как бы нас не ссадили, — тогда я, бедняга, совсем оглохну. Проехали Омск, Петропавловск, Курган. Подъезжали к Шадринску. В каждом городе являлись гэбэшники и проверяли документы. Однако соседи, зная, что мы колхозницы и никаких документов у нас нет, помогали нам прятаться — то в туалете, то под скамьей, а в Кургане даже на крышу вагона пришлось залезть. Но в Шадринске гэбэшники закрыли все двери и стали проверять так дотошно, что даже под скамейки заглядывали, откуда нас и вытащили. Несмотря на все наши объяснения — мол, мы колхозницы, без паспортов, едем лечиться, несмотря на наши слезы и мольбы, нам велели собрать вещи и ссадили с поезда. Мы поняли, что это конец, — гэбэшники были неумолимы. Но драгоценности были еще при нас, и оставалась слабая надежда откупиться. Начальник обыскал нас и, увидев наши драгоценности, потребовал признаться, кто мы такие, куда едем и откуда у нас украшения. И еще он заметил золотые зубы Коцинене. Сдавил пальцами щеки, заставив раскрыть рот. Пришлось признаться, что мы спецпереселенцы.

— Ну, шпионка, или мы тебя повесим, или выкладываем всю правду!

— Мы — сестры, — рассказывала Коцинене. — Хотели поехать в Киев, к тете.

— Так в Киеве же немцы!

— Неужели? — удивилась Коцинене. — А мы и не знали! Газет нет, радио нет, мы совершенно не знаем, что происходит.

В его-то кабинете черная, как сковородка, непрерывно тархтела «говорилка». Запросили Киев (или только сказали, что запросили), действительно ли проживает там такая. Через неделю пришел положительный ответ, и нам заявили:

— Вы неглупые женщины, знаете, что спецпереселенцы нас не любят. Нам надо знать, о чем они между собой разговаривают, что думают. Таких сведений мы не имеем, потому что у нас нет надежных людей, знающих ваш язык. Если поможете нам — вернетесь обратно, если нет — расстреляем как дезертиров. Драгоценности конфискуем.

Получив наше согласие помогать им — другого выхода не было, — нас по этапу, через тюрьмы, вернули в Камень. «Помогали» мы так: раздобыв газету и найдя там какое-нибудь сообщение, мы бежали в управление и докладывали, что литовцы, дескать, говорят то-то и то-то. Нам сердито отвечали, что об этом написано в газетах. Мы удивлялись: «Неужели?» Потом стали объяснять, что при нас литовцы не говорят, потому что видят, как мы ходим в управление, и все спрашивают, что мы тут делаем... Тогда нам было велено встречаться с гэбэшниками на улице и передавать, что узнали. Но мы продолжали стоять на своем: литовцы при нас все равно ничего не говорят и упрекают, что мы распущенные и шляемся с русскими. Когда нас увезли на север, мы обрадовались, что пришел конец этому кошмару...»

Приближался Новый, 1943-й, год. Я надела национальный костюм и была самой нарядной. Природа приготовила нам новогодний подарок: на небе горело чудесное северное сияние, освещая всю тундру длинными

цветными веерами. Встречать Новый год мы пошли в юрту Жильвитиса, где почти постоянно находился Вайдевутис, влюбленный в Гене Закарявичюте. После того как Инзялис отсюда съехал, средние нары уже разобрали, и места хватало. Детишки под руководством Чибилене пели и декламировали. Я в национальном костюме пела свои собственные песенки. Ральченене перевела их гостю — русскому с пристани. Тот попросил предупредить меня, что за такие песни могут посадить. Под собственный аккомпанемент (я сама напевала мелодию) я исполнила танец «Умирающий лебедь». Настроение у всех было превосходное. Юргис Гасюнас не спускал с меня глаз. Из мальчика он уже превратился в юношу. Юргис был комсомольцем-идеалистом, еще в школе свято верившим словам своего учителя. Люди смеялись над ним. Только моя мама заступалась:

— Нельзя смеяться над идеалами человека! Смейтесь над теми, кто меняет шкуру, а идеалистов надо уважать.

Праздник кончился. Через пару дней приходит Ядзя и говорит:

— Знаешь, Юрате, Юргис в тебя влюбился!

— Какой?

— Гасюнас.

— Я же на два года старше его, он еще совсем мальчик — шестнадцать лет!

— Он не решился сам сказать тебе, попросил, чтобы я передала.

Мне стало интересно. Я вспомнила его в канун Нового года — чистенького, в костюмчике, из которого вырос. Может, тогда в национальном костюме я и неплохо выглядела, но в будни?! Когда сижу на нарах с закопченным от лучины лицом? В прожженной юбке, в шубейке с протертым животом, в блеклой фиолетовой шапке и с обернутыми в тряпки ногами? Разве можно влюбиться в такую девушку? И разве это сейчас на уме, когда каждый день в голодные глаза смотрит смерть? Однако глубоко в душе мне было приятно. Осмелев, Юргис

начал к нам захаживать, то дров наколет, то воду принесет. Это очень не нравилось его матери. Когда я появлялась в юрте Жильвитиса, она кричала: «Снова корова эта пришла детям голову дурить!» Я не сердилась, меня только смех разбирал. «Любишь меня?» — спрашивал Юргис, но я не могла ответить ему «да!». Мое сердце молчало, но все равно было приятно.

В конторе табельщицей работала Гене Лукошайтите. Раз она сказала, что кассирша Анька Лижина назвала Галковскому всех молодых, кто на работу не ходит, а карточки на муку все равно получает, и что Галковский велел таким карточек не выдавать. Значит, даже этих несчастных 10,8 килограмм муки я не смогу купить! Это голод. Настоящий голод. Мы даже верить не хотели. Ведь я не работала только потому, что не во что было обуться. Мы с Алюкасом Гасюнасом пошли в контору, в которой было полно народу. Анька, увидев нас, крикнула: «Эй, вы! Не стойте, карточек не получите!» Значит, Генуте правду сказала. У меня за спиной висело Анькино пальто, а в кармане были ножницы. Я со злости отрезала все пуговицы, но аккуратно, чтобы не испортить ткань, а Алюкас собрал с подоконника все свечи. На другой день я пошла жаловаться Галковскому. Он спросил, почему не работаю. Я ответила, что не во что обуться. Он велел вечером прийти к нему — даст торбаса, такую обувь из оленьего меха. Вечером, надев тулуп Даумантаса, валенки и повязав голову национальным платком, я отправилась к Галковскому. Постучалась в дверь, твякнула собака. «Молчи, Дружок, это свои, — слышалось из-за дверей. — Да! Заходите!» Я переступила порог, и у меня дух захватило: койка накрыта одеялом из белого заячьего меха, пол выложен оленьими шкурами, стены драпированы розовой американской фланелью, на окне голубые занавески, на столе настоящая керосиновая лампа с настоящим стеклом! Возле стола табуретка, на стене висит одежда. Я села и стала все рассматривать, как глупая деревенская девчонка. Каза-

лось, что я попала в сказочную страну. Галковский гладил собаку и разговаривал с ней. Потом обернулся ко мне: «Так, говоришь, не во что обуться? Ладно, дам тебе меховые торбаса». — «А заячьи чулки? — спросила я. — Без них замерзну!» — «Чулки выпишу, купишь в магазине, когда будут». Потом он снова обратился к собаке: «Ну что, Дружок, пойдем спать!» Я, дурочка, все жду, когда же он даст торбаса, но, услышав, что он сказал собаке, встала. Он подошел ко мне и стал расстегивать мой тулуп.

— Раздевайся, у меня тепло, поиграем! — Он схватил меня в охапку и попытался поцеловать.

— Кричать буду! — сопротивлялась я, отталкивая его.

— Кричи сколько влезет: за стеной Инзялис, он свой человек, ничего ты не добьешься!

Я вырвалась и бросилась в дверь.

Всю дорогу до дома я бежала. Сердце учащенно билось: что теперь будет, ведь это наш главный начальник? Дома все рассказала. Наутро решила идти в контору — если выпишут чулки и торбаса, буду работать, сколько силы позволят.

— Чего тебе? — спросил, не глядя на меня, Галковский.

— Выпишите торбаса и заячьи чулки.

— Нету! — зло отрезал он.

Так я ходила неделю. Он бесился, завидев меня, нервничала и я. Наконец Римантас сказал: «Не ходи больше, не унижайся перед этим подлецом! Сошью тебе сапоги из брезента и резины. Попроси Козина, чтобы взял тебя к себе чинить сети, — вас же в гимназии на уроках труда учили, как плести сеточки». Брат вырезал из толстой резины подошвы, пришел к ним, как носки, брезент — вот и сапоги готовы. Я обулась, затянула брезент веревкой, обмотала мешками и отправилась к Козину просить работу. Козин был высоким, стройным аст-

раханцем средних лет, который прибыл сюда как мастер рыбацких снастей. На работу он меня взял.

В поселке все знали маленького юркого жемайтийца Тикужиса, который к жене обращался на «вы». Так как он разбирался в строительстве, Бреславский назначил его бригадиром. В особо морозные дни Тикужис набрасывал на плечи толстый большой жемайтийский платок, закалывал его спереди и на ветру был похож на привидение или на гигантскую летучую мышь. Завидев где-нибудь беспорядок, Тикужис откашливался и говорил: «Я ни за тех, ни за других, но скажу правду — был бы хозяин, то и порядок был бы, никакое добро не пропадало бы». Кто-то донес, и за эти слова «ни за тех, ни за других» Тикужису дали два года тюрьмы.

Однажды я узнала, что сильно болен Гирчис. Пошла — лежит, бедолага, без сознания, распух так, что похож на дородного крестьянина. В ожидании доктора женщины уже зажгли восковую свечку. Открыл Гирчис глаза, увидел, что происходит, усмехнулся и говорит:

— Свечку зажгли? Рано хороните! Меня и палкой не убить... — и снова потерял сознание.

Пришел врач, молодой якут Карачин.

— Распух от голода, а теперь еще и воспаление легких присоединилось, — сказал врач.

— Неужели невозможно его спасти? — плакала Гирчене.

— Нужен красный стрептоцид, только здесь его не достать.

Никому ничего не сказав, я побежала в нашу юрту.

— Мамочка, милая, Гирчис умирает! Карачин сказал, что спасти его может только красный стрептоцид. От меня ведь осталось несколько таблеток, давай дадим их Гирчису!

— А если нам самим понадобится?

— Бог даст, не понадобится!

— На, неси, — сказала мама и подала мне оставшиеся шесть или семь таблеток.

Гирчис пошел на поправку и выкарабкался. Мы с мамой были счастливы, что спасли человека.

Наступил февраль. Теперь уже скоро покажется солнышко. Кончилась страшная полярная ночь. С каждым днем солнце все больше и больше вставало из-за горизонта. А в один прекрасный день мы увидели на горизонте целых три солнца: то, что в середине, светило ярче, а те, что по бокам, — послабее. Не зря в Северном Ледовитом океане один остров назван именем нашего Чюрлёниса. Видать, человек, давший ему имя, видел эти миражи и, конечно, знал картины Чюрлёниса. С появлением солнца оживает вся природа. Из мест своей зимовки выползают и «феврالي». Так на Севере называли мужчин, не имевших постоянного места жительства. Поселялись они там, где им больше нравилось. Поработали, порыбачили, мешок на плечи — и дальше. А когда наступит полярная ночь, они устроятся там, где теплее и сытнее, и будут ждать появления солнца, то есть февраля (поэтому их так и прозвали). А тогда снова в путь...

Римантас принес со стройки дощечки и сколотил стенку, маленькое крылечко и две двери — одна в нашу комнатку, другая — к Ясявичюсам и к тем нечистым на руку соседям. Но и это не помогало: раз мама что-то забыла, неожиданно вернулась и увидела, как соседка черпает муку из нашего мешка. Воровка, застигнутая на месте преступления, не растерялась:

— Ах, чтоб тебя черт, перепутала — не в свой мешок влезла, голова кругом пошла!

В чужой комнате из чужого мешка тащит муку и говорит, что ошиблась! Мама не знала, что ей и сказать. Вспомнила поговорку: «От домашнего вора ничего не спрячешь...»

Работа с сетями кончилась. Однажды Козин принес мне лимон, настоящий желтый лимон, и сказал: «Это тебе награда за хорошую работу — не от властей и не от предприятия, а лично от меня». Я поблагодарила. Дома

мы нарезали его маленькими ломтиками и съели прямо с кожурой. Я начала работать по ночам. Колола замерзший ил на берегу реки, складывала его в ведра цилиндрической формы, которые разогревали на печке. Печку приходилось топить постоянно. По лестнице влезала на крышу и выливала на нее остывший ил, чтобы с началом дождей крыша не текла. Ил пузырился, как лава вулкана, из ведра несло зловоние, странное, незнакомое, — так пахнет размороженная вечная мерзлота! Неужели в этих краях стояла такая невыносимая вонь, когда тут разгуливали мамонты?!

Выздоровевший Гирчис работал сторожем в магазине. У него была винтовка, однако при желании ничего не стоило его разоружить и все вынести из этого магазина. Но разбойничать было некому — спецпереселенцы были тихими, обиженными судьбой людьми, терпеливо несущими свой крест. Он заходил ко мне погреться. Стоит, бывало, возле печки, прислонившись к стене, и дремлет, поставив винтовку на пол.

Из жестяных консервных банок Римантас сделал всем по чашке. Пить чай из них было удобно, но очень горячо. Раз я стояла на корточках около стены и ждала, пока кружка остынет. Пришел с дежурства Вайдас.

— Снова Римантас тащит дощечки! — закричал он.

— Так ведь по необходимости берет, тебе же самому от этого лучше, — возразила я.

— Я покажу тебе «лучше»! Посадить хотите?! — Он хотел ударить меня, но попал по руке с чашкой, и кипяток плеснул мне в лицо.

Я выбежала из юрты и стала прикладывать снег к обожженному месту. Вздудились волдыри, и жестким снегом я содрала кожу. Мама бросилась ругать Вайдаса, тот, ничего не сказав, выскочил. Паралич его прошел, но он стал очень нервным и злым. Мы на него не сердились, потому что знали, что он еще больной. Кожа на обожженном лице стала гноиться. Карачин дал какое-то лекарство от обморожения и от ожогов. Однако ожоги не

проходили, распухла еще и шея. Увидев это, Вайдас стал плакать и молиться: «Господи, помоги и спаси Юрате!» Однажды к нам пришла Ясявичене и принесла огарок восковой свечки. Мы достали ложку подсолнечного масла и чайную ложечку крахмала, как велела Ясявичене. Растопив воск, смешали его с подсолнечным маслом, остудили и высыпали туда крахмал. Нанесли эту мазь на ткань и приложили к обожженной щеке. Через неделю появилась розовая кожица. Рана зажила, но на лице остались большие красные пятна.

Римантас сложил в комнате печку, настоящую кирпичную печку! Лежа на нарах, мы прижимали ноги к ее теплым стенкам. Строительство шло к концу. Я старалась разогреть как можно больше ила, потому что чем скорее кончим строить, тем раньше начнем печь хлеб, по которому так истосковались. У мамы начались сердечные приступы. Я бегала к доктору Карачину за каплями. У нас снова нечего было есть. Тогда мама пошла в тундру, где осенью выбрасывали испорченную рыбу, выкопала несколько рыбин из грязи, дома хорошо промыла их, сварила кусочек и вдвоем с Римантасом съела его. Подождав пару часов, убедились, что рыба не ядовитая. После этого мама вымочила всю принесенную рыбу и поджарила ее. Теперь уже ели все. Вайдевутис сказал:

— Вот вернемся домой, я вырою себе землянку, куплю пару мешков муки, сахар, ящик масла. Напекую на плите лепешек, намажу их маслом, насыплю в кипяток много сахара и все это съем и выпью!

Молодежи все казалось не таким безнадежным, как пожилым людям, которые и сами должны были не сдаваться, и детей своих поддерживать. Мы танцевали и на пустой желудок. Танцевали в клубе, а в другом его конце были сложены трупы, лежавшие там, пока у кого-нибудь не появятся силы выбить в вечной мерзлоте яму для могилы и похоронить их. А в нашем конце играла гармошка, танцевали все, кто мог держаться на ногах, играли во всевозможные игры, кто что вспомнит. Юргис в

клуб не ходил, потому что не умел танцевать. Мы встречались у меня. Он возвращался, размахивая полами расстегнутого тулупа, и напевал: «Юра, Юрочка, Юрочка-голубушка, я тебя не в силах позабыть. Юра, Юрочка, Юрочка-голубушка, сердцу любо Юрочку любить!» Хотя слух у него был не Бог весть какой, но голос разносился далеко по тундре. А мне было приятно, что общение со мной делает кого-то счастливым.

Наконец построили пекарню и стали выпекать хлеб. На четверых мы получали буханку мокрого формового хлеба. Делили всем поровну, только себе я брала немного меньше, чтобы больше оставалось мужчинам и маме. Раз вся семья напала на меня за то, что я, раньше других возвращаясь с работы, якобы ворую хлеб. Я объясняла, что это не так, что себе я беру даже меньший кусочек, но меня никто не слушал. Мама стыдила меня, я рассердилась и стукнула ее ладонью по спине. Вайдас стал меня бить, а Римантас, мой самый любимый брат, дал мне пощечину. Мой лучший друг, от которого у меня никогда не было никаких тайн, не верит мне и даже дал пощечину! Меня охватило такое отчаяние, что я процедила:

— Римантас, и ты тоже не веришь мне? Так будь же ты проклят!

Мне приходилось слышать, что свои люди дерутся друг с другом из-за куска хлеба, но я не могла представить себе ничего подобного в нашей семье. А теперь? Я сама подняла руку на маму, на самого святого человека в этой юдоли слез! Когда все стихло, дверь отворила Ясявичене и сказала:

— Чего вы деретесь? Надо было сначала у меня спросить. Я все время дома и знаю, что соседка обрезает ваш хлеб.

У меня никто не попросил прощения. Я все еще сердилась на Римантаса, хотя видела, что его мучают угрызения совести за несправедливо данную пощечину. Мы ходили, не разговаривая друг с другом.

Литовка Дзегорайтене вышла замуж за русского, который работал шкипером на барже. Дзегорайтене предложила мне вымыть баржу, пообещав за это три раза в день кормить. Соблазнились трое: я, Ядзя и Закарявичене. Приплыли мы на пристань, идем по набережной, живот подводит, мечтаем, как после работы Дзегорайтене нас накормит. Подошли к баржам. Сидит на бревне русская баба, жжет костер и печет блины — большие, на всю сковороду, как у бабушки в Ужпалае. А блинов этих целая куча! Закарявичене пошла следом за Дзегорайтене, а мы с Ядзей стоим и не можем оторвать глаза от этой гигантской кучи блинов. С трудом преодолев желание попросить хотя бы один блин, мы повернулись и пошли. Из столовой на пристани доносился запах борща. Как это я, живя в Литве, могла не любить борща — такого ароматного, густого, да еще с сушеными грибами?! А когда мама просила засушить в Ужпалае белых грибов, я говорила: «Насушу, только если не будешь заставлять есть борщ с ними».

Дзегорайтене отвела нас к месту работы. На барже было шесть кают. Их стены и потолки обиты белыми крашеными дощечками, теперь уже серыми от дыма. С помощью щеток и мыла мы должны были отмыть их до блеска. Работа трудная, нужны силы. Когда же пришло время обеда, Дзегорайтене принесла нам по мисочке сваренной на воде манной каши. На ужин снова получили манную кашу. Так было все три дня. Баржа стала чистой. Теперь-то я понимаю, что за ту нашу работу кто-то положил себе в карман немало денег.

Лед уже начал таять, стали формировать бригады. Это был государственный лов, здесь его называли сокращенно гословом. Я попала в бригаду Бартникайтиса. Вайдеутис уговаривал Римантаса вступить в колхоз. Мы с мамой были против, так как слышали, что выйти из него почти невозможно. Но Вайдас все-таки уговорил его.

В верховьях Яны тронулся лед, вода поднялась и вышла из берегов. Мы опасались, что затопит юрты. Но постепенно вода спала.

Шестого мая мой день рождения. Мама подарила мне баночку мясных консервов, которую мы все вместе съели. Римантас сказал: «Мой день рождения будем отмечать с нельмой и лепешками! Получу талоны на продукты и деньги за выловленную рыбу».

Наконец лед прошел. Римантас и Вайдас со всей бригадой отправились вверх по Яне. Я с ними не простилась — все еще не прошла горечь от ссоры из-за хлеба. Утром перед дорогой Римантас рассказал, что ему приснилось, будто Карачин вырвал у него щипцами все зубы. «Очень плохой сон», — сказала мама. Попрощалась она с Римантасом такими словами:

— Прощай, Римас! Береги себя! Может, больше никогда не увидимся...

После того как мужчины уехали, мы с мамой принялись приводить в порядок «квартиру». Разобрали нары и одни переместили туда, где спал Гудьюргис. Теперь появилась возможность подойти к столику и сесть. Под нарами был слой льда, и я топором колола его, чтобы скорее растаял. Получили письмо от Римантаса — принесли рыбаки. Он писал, что живут они хорошо, едят вволю, бригадир Костя Сергеев очень хороший. «Достать бы еще сахар, жили бы как в Литве!» Жаловался только, что болит ухо.

Я тоже пошла ловить рыбу. Первый раз забросили сеть длиной триста метров и стали тащить. Когда подтащили поближе, запахло рыбой, и этот запах напомнил мне Литву и растущие там огурцы. Над шуршащей от рыбы сетью кричали белые и черные чайки. На одном конце сети была мотня — такой мешок, куда сбрасывают рыбу. Но было ее так много, что не помещалась в мотню. Рыба больно хлестала по ногам. Мы выловили пять тонн, ссыпали все в баркасы, и на этом лов закончился. Одежда промокла, подходящей обуви у нас тоже

не было — якуты носили шитые из брезента и обмазанные дегтем сапоги, которые называли здесь ичигами. Сдавать рыбу наш хитрый бригадир Бартникайтис послал меня и Зою Калковайте. На пункте приемки уже ждала очередь из баркасов. Дул холодный северный ветер, одежда заскорузла и превратилась в ледяные скафандры. Казалось, что коченеют кости, страшно болели ноги. Наконец мы сдали рыбу. «Если поймают с рыбой, будут судить как за воровство», — предупредил Галковский.

В сеть попадала и мелкая — наподобие кильки — рыбешка, тугунок. Мы исхитрялись иногда полакомиться ею: насыпем заранее в карманы соль, ловим тугунка, откусываем ему головку, вытаскиваем внутренности, в кармане посолим и в рот. Вкуснотища! Рыбу мы ловили для фронта. Из картона я изготовила трафареты «Рыба фронту» и на бочках соленой рыбы масляной коричневой краской ставила это клеймо.

Не всегда удавалось за один раз вытащить столько рыбы, чтобы баркасы были полны. Иногда приходилось забрасывать сеть четыре-пять раз. Работали на совесть, так как появилась надежда, что голодать больше не придется. Мы шли на хитрость: подпоясывались веревкой, к ней за жабры цепляли рыбу, прятали ее в штаны и так приносили домой. Рыба — мокрая, скользкая, холодная — царапала живот, ноги... От усталости я долго не могла уснуть, часто думала о братьях, как они там, болит ли все еще у Римантаса ухо. Мама готовила еду, и я понемногу приходила в себя. Стоял полярный день, солнце ходило по кругу, и не было ему дела до того, что творится здесь, на Земле. А для нас путались дни и ночи. Часов не было, лишь изредка ветер доносил удары гонга, зовущие на работу трудяг и служащих. Работали мы сутками, поэтому гонг слышали несколько раз, и он только сбивал нас с толку. Как-то раз мама в полночь отправилась в тундру собирать дрова — такая у нее теперь была работа.

Утром 13 июня 1943 года, когда я после трудного лова еще сладко спала, в юрту сунула голову Зося Калковайте и поманила меня пальцем. Накинув шубейку, я выскочила на улицу.

— Тебе чего? — спросила я.

— Брат утонул...

— Владас?

— Нет, не мой брат, а твой...

— Ой! Какой же? — трясла я Зося.

— Римантас...

— Боже, почему не Вайдас! — вырвалось у меня непроизвольно. — А ты откуда знаешь? — Меня бил крупный озноб.

— Вайдас сидит у Гене, в юрте Закарявичюсов, и боится идти домой.

Я помчалась к Закарявичюсам. На нарах, закрыв руками лицо, сидел Вайдеутис.

— Вайдас, скажи, это правда? Говори, может, еще можно спасти? Вайдас! — умоляла я.

Оказалось, у них там был только один баркас, с него и сеть опускали, на нем и улов на пристань возили. Поскольку у Вайдеутиса было слабое здоровье, сеть он не тащил, а шел по течению с колом, к которому был прикреплен другой конец сети. А всю работу делал Римантас с другими рыбаками — они гребли, ставили сеть, вытаскивали ее на берег. Опустив с баркаса сеть, они немного подтягивали ее к берегу, чтобы не унесло течением. Римантас все еще жаловался на ухо. Утром он сказал брату: «Уши заложило, говори громче». Когда сеть тащили к берегу, течение подхватило баркас. Бригадир Костя Сергеев закричал: «Баркас уносит, теперь неприятностей не оберемся! Куда рыбу сыпать будем?» Римантас скинул тулуп и в рубашке, ичигах и шерстяных штанах прыгнул в ледяную воду.

— Сумасшедший, что делаешь?! — закричал Вайдас.

Но Римантас то ли не услышал, то ли просто не послушался, мы уже никогда не узнаем этого. Другой лод-

ки не было, так что и спастись было не на чем. Немного проплыв, баркас сел на мель. Казалось, он нарочно выманил Римантаса на смерть... Переплыв узкую речку, Вайдас поспешил туда, где работала обычно наша бригада. Но меня там не оказалось, потому что в этот день на лов вышла вторая бригада. Витас Скрыбулис переправил его на наш берег. Тут Вайдас разыскал Галковского и умолял его: «Дайте катер, брат утонул, забросим сеть, может быть, еще вытащим его!» — «Одним меньше!» — сказал Галковский, махнув рукой, и пошел дальше. «Господи, Господи! — металась я. — Что же теперь будет?» Слез не было. Как сказать маме?! У нее такое слабое сердце... Я побежала в больницу. Карачин дал лекарство для сердца. В больнице лежал Ядзин отец Калковас. Узнав о случившемся, он заплакал: «Такой замечательный парень! Лучше бы я умер...» Я вернулась в нашу юрту. Перехватило горло, я боялась расплакаться при маме. На Яне начался шторм. Я смотрела в крохотное вшитое в мешок стеклышко.

— Что случилось? Почему ты так смотришь в окно? — спрашивала проснувшаяся тем временем мама.

— Римантас выплыл оттуда на лодке, на Яне шторм, а его все нет...

— Ну и что? Приплывет, — сказала мама.

— Но он уже давно выплыл, тут всего-то двенадцать километров, за такое время мог бы уже приплыть, его тут ждут со сведениями о лове...

— Доченька, ты что-то скрываешь от меня! Скажи все! — умоляла мама. — Не мучай меня, скажи!

Слезы душили меня.

— Мамочка, я боюсь, ведь я его прокляла!

В юрту вошел Жильвитис.

— Юозас, скажи мне, что случилось? Только прошу, не мучай меня, ничего не утаивай! — рыдала мама.

— Сегодня утром утонул Римантас, — холодно сказал Жильвитис.

— Боже, Боже, почему Ты такой безжалостный?! Отнял моего доброго Римаса!

— Богу, Наталья, как и людям, плохие не нужны, — попытался утешить ее Жильвитис.

— Где он?

— Его не нашли. Теперь шторм, искать невозможно. Его может унести в море, где уже никто не найдет...

Я дала маме успокаивающее лекарство, она побежала к реке и, несмотря на шквальный ветер, шла по берегу и кричала: «Римас, Римас!..»

Люди выражали ей сочувствие. Все, даже финские женщины, работавшие с ним, говорили: «Такой человек! Он и букашки не обидел, он не давал нам тяжести поднимать — сам хватал, хоть и платили нам всем одинаково. Он говорил — мне легче, я молодой, здоровый. Таких людей теперь нет...» Он и правда всем сочувствовал, с каждым готов был последним куском поделиться. Теперь я поняла, что та пощечина была заслуженной, — я получила ее за то, что подняла руку на маму. О, если бы можно было взять обратно те слова проклятия!

Была середина лета. Рыбу больше не ловили. Колхозникам заплатили заработанные деньги и выдали талоны на продукты. Часть денег выдали облигациями. Получили мы и то, что причиталось Римантасу. Муку, которую он заработал, мама отдала бедным. Люди пытались ее удержать:

— Бичюнене, что ты делаешь? Ведь неизвестно, что ждет тебя саму завтра!

Мама отвечала:

— Он поступил бы так же.

Приехал Бреславский. Пришел к нам и весело спросил:

— Ну, Наталья Матвеевна, как живете?

— Плохо.

— Почему же плохо? Все у вас есть — и мука, и сахар, и масло!

— Да. Но мы ложимся, а Римаса нет, встаем — его тоже нет... И не будет никогда.

Как-то раз я нащупала в кармане обгрызанную, за-сохшую лепешку и бросила ее на землю. Наклонилась худая, как тень, старушка, подняла ее, поцеловала и сунула за пазуху. Как быстро я забыла голод, вот уже и пищу выбрасываю! И я дала себе слово: пока жива, не выброшу ни кусочка хлеба. И это слово держу.

Когда рыбный лов прекратился, Бартникайтис надумал построить себе отдельную юрту. Рабочую силу выбрал бесплатную, то есть молодежь из своей бригады. Теперь, возвращаясь после ремонта сетей, мы шли строить юрту Бартникайтису. Мама возмутилась и сказала, что на личное строительство меня не пустит. Это не понравилось Бартникайтису, и он заявил, что своего маленького ребенка она может забрать, но когда начнется лов, он меня в свою бригаду больше не примет. Я перешла работать в цех по обработке рыбы. Там получала продовольственную карточку и зарплату.

Слесорайтене все еще сидела на нарах, набросив на плечи оленью шкуру. Теперь она посылала свою дочь Сигиту с записками: «Милая госпожа, одолжите крупы» и другими в том же роде. Не раз просила: «Милая госпожа Бичюнене, одолжите мисочку теста». Разумеется, этих долгов никто никогда не возвращал... Сам Слесорайтис работал могильщиком.

Я дружила с Ядзей Калковайте, хотя маме это и не нравилось. Особенно после того раза, когда по маминому приглашению в нашей юрте сидел ослабший от голода Ядзин отец, а она, забежав к нам и увидев отца, рассердилась и стала кричать:

— Таскаешься всюду и жалуешься?! Марш немедленно домой!

Мама возмутилась:

— Ваш папа — мой гость, я его пригласила, а вас сюда никто не звал, поэтому он останется здесь, а вас я попрошу покинуть мою юрту!

К Ядзиной сестре Зосе приходил «февраль» Колька Воронин. Он был рыбаком, приносил кое-что из еды и угощал Зосю. Воронину было лет сорок пять, Зоське — семнадцать. Прибежала раз Ядзя и кричит:

— Зоська дура: замуж за Кольку вышла!

Мы решили немедленно идти к ней и привести ее домой. Воронин был красивым мужиком — высокий, лицо смуглое, зубы здоровые, белые, как жемчуг. Но такая разница в возрасте! Примчались к Воронину и застали там Зосю, хозяйничающую в доме.

— Вернись, он старый, скоро на печи лежать будет, а тебе еще захочется веселиться! Вернись, если еще не спала с ним...

Зося только рассмеялась:

— Вы еще ко мне жрать придете! Думаете, я жрать не хочу? Или скажете, что он некрасивый? Красивый и любит меня!

Мы ушли несолоно хлебавши.

Вдвоем с Ядзей мы плавали на баркасе за дровами. Я плела из скупой зелени тундры венки и опускала их в воду Римасу. Смотрела на них и пела: «Тихо-тихо плывет наш Неман...» Однажды я надумала проверить, действительно ли вода здесь такая ледяная. Погода была теплая, я разделась и, держась за баркас, нырнула. В самом деле, вода была такой холодной, что просто обжигала. Боже, как страшно утонуть в такой холодной воде!

Волосы мои отросли. Как рыбак я получила сапоги сорок первого размера. К счастью, Блауджюнас сделал из них красивые сапожки нужного размера. Еще была у меня мечта собрать столько черных ниток, чтобы связать себе носки, — это было пределом моих желаний.

И вместе с тем в ту пору во мне происходили какие-то перемены. Я видела, что так глупо болтать, как раньше, мне уже не к лицу, а умнее говорить не умела. Не хватало образования. Это стало угнетать меня. Однажды в нашем поселке появился рослый бурят. Так как мама была почитательницей восточного искусства, то и люби-

ла всех людей с узкими глазами. Вот она и познакомилась с Франсом. Он представился учителем. Видимо, спасаясь от фронта, завербовался на Север. Здесь, в Коугастахе, он временно поселился у нас, поскольку одни нары были свободны. Возвращаясь с работы, он рассказывал о Бурятии, о тамошних обычаях. Нам было очень интересно. Мы привыкли к Франсу, не считали его чужим. Юргис заглядывал почти ежедневно. Хороший он был, но я, старшая по возрасту, руководствовалась умом, а он, очевидно, чувствами. Мать Юргиса постоянно на меня кричала, он сердился и решил построить себе отдельную юрту, на другом берегу Яны. Так и сделал.

Рыба немного еще ловилась, поэтому работал и цех засола. Это только название такое было «цех», потому что работали мы под открытым небом: светило ли солнце, шел ли дождь, валил мокрый снег, заедали комары или коченели на морозе руки... Не будешь работать — не получишь еды. Резервуар для засола рыбы представлял собой сбитую из бревен раму, в которую был вложен огромный кусок брезента. Рыбу прямо с носилок мы бросали в эту раму и засыпали солью: по ведру соли на одни носилки. Так солили ряпушку. Крупную рыбу потрошили, на спине делали надрезы — «карманы» и первым делом в них насыпали соль, потом натирали солью всю рыбину и бросали в резервуар. Возьмешь ряпушку за голову и хвост, дернешь, и, если не слышен хруст позвоночника, значит, рыба готова, засолилась. Готовую рыбу рядами укладывали в бочки: уложишь ряд ряпушки спинками вверх, на него второй ряд — уже поперек, и так до самого верха. Мужчины делали бочки там же, на месте. Наполненные бочки они закрывали крышками и затягивали обручами. После этого я коричневой краской печатала свой трафарет «Рыба фронту», ставила дату засола. Бочку откатывали поближе к мостику — это означало, что можно увозить.

Бывало очень холодно укладывать соленую рыбу в бочку голыми руками. Неподалеку топилась печка, на

которой специально стояло ведро с горячей водой — опустишь руки в эту воду, сначала они нестерпимо болят, постепенно боль унимается, в жилах рук согревается кровь, и чувствуешь, как она растекается по всему телу. Понемногу тело согревается, и ты снова идешь укладывать ледяную рыбу. И все время пытаешься сообразить, как бы принести рыбу домой. Кладешь, бывало, в передник рыбу и идешь берегом — будто по своим делам. Присядем, рыбу спрячем, а после работы куда-нибудь ее сунем и принесем домой. Но был такой литовец Мачейка, не старый еще человек, но работать не любивший, он только и делал, что ходил по берегу и собирал палочки, а вместе с ними — и припрятанную нами рыбу. А пожаловаться было некому: и мы, и он в общем-то воровали. Галковский потом тоже рассказывал всякие истории. Иду, говорит, по поселку, смотрю, возвращаются с засола бабы, передники связаны, щепок набрали, а передники-то мокрые, и отчетливо видны контуры рыбы. Подходят ко мне, улыбаются: «Здравствуйте, товарищ директор!» Я говорю: «Пошли, бабоньки, в контору!» Идут все. Те, что похитрее, рыбу по дороге выбросили. Привел и говорю: «Читайте, что тут написано! А написано, что щепки со стройки брать запрещено. Немедленно высыпайте их возле печки!» Сыплют бабоньки стружки да щепки, а вместе с ними и рыба шлепается. «Ага! Рыбу воруете!» — кричу я. Взял бумагу, составил акт с именами и фамилиями, велел подписать. Плачут женщины, просят пожалеть их, но я неумолим: «Вот посидите, пройдет охота воровать!» Подписали и поплелись домой. А я оторвал клочок от этого акта, завернул в него махорку и закурил...

Юргис сооружал ледник, в котором можно было бы держать еще не засоленную рыбу. Профессиональных мастеров засола у нас не было. Солили так, как учили местные практики. Часть рыбы держали в новом леднике. Полежавшая там рыба приобретала какой-то неприятный запах, но никому до этого не было дела.

У нас была купленная в Якутске настоящая бамбуковая удочка — складная, с острым крючком. Вернувшись после лова сетями, я брала удочку, цепляла на крючок хлеб или кусочек теста и шла на Яну ловить тугунков. Люди смеялись:

— Юрате недостает пяти тонн до плана, наловит их на удочку.

А для меня это было и развлечением, и отдыхом, и полезным делом. Я стояла с удочкой и вспоминала Уж-паляй, нашу речку Швянтайи и всю семью, выстроившуюся с удочками на берегу. Ох, если бы рядом были Римас и папа!

Дни становились все короче. 27 сентября выпал обильный снег и уже не растаял. Через неделю Яна встала. У нас начался подледный лов. Из Астрахани приехал Куспангалиев — был он и рыбаком, и мастером засола, и специалистом по ремонту сетей. По-русски он говорил довольно плохо, на круглом, как месяц, лице за припухшими веками бегали маленькие карие глазки, а в постоянно оскаленном рту желтели обломанные зубы.

Подледный лов был трудным делом. В толстом ледяном покрове прежде всего надо было выдолбить проруби, затем, следуя определенным правилам, сунуть в них шесты с прикрепленными специальными сетями. За ночь лед замерзал, поэтому утром приходилось снова прорубать его и руками вытаскивать сети с рыбой. Ловили мы разную рыбу. Из стерляди вынимали черную икру, из нельмы — красную. Когда лов бывал удачным, набиралась довольно большая миска красной икры. Мы сыпали в нее соль и взбивали вилкой, пока не выйдут все жилки — они наматывались на вилки, как нитки, а между икринками образовывалось белое молочко. Когда прожилок больше не оставалось, выкладывали икру в тряпку. По мере того как по капле стекала похожая на молоко жидкость, икра засаливалась. Вкус был отменный! Ложками клали мы на хлеб свежую красную икру, ели и думали: «Такого деликатеса небось и сам Сталин

не получает — пока ему эту икру доставят, она провоняет ржавой рыбой!» Однако подледный лов пришел к концу...

Я снова стала заниматься сетями. Приходит как-то Ядзя и говорит, что в больнице умер ее отец. Владас пошел сообщить Зосе и позвать, чтобы пришла помочь похоронить. Какой-никакой гроб уже был. В обеденный перерыв пошли мы с Ядзей в больницу, на санках свезли гроб. Положили в него истощенное тело, накрыли крышкой и прибили несколькими большими гвоздями. По промерзшей тундре мы, спотыкаясь, везли в санках бывшего владельца Дома отдыха в Бирштонасе барона фон Калькхофа. Все надо было успеть сделать за обеденный перерыв. Яма уже была вырублена — Слесорайтис повстречался нам уже по пути домой. Я обратила внимание на могилу Гасюнаса, потому что на кресте химическим карандашом был нарисован крест Союза стрелков. Спрыгнув в могилу, я приняла конец гроба. Ядзя подтолкнула гроб, и другой его конец грохнулся на лед. Я встала на гроб, Ядзя подала мне руку и помогла выбраться из ямы. Мы стали сыпать на гроб лед. Послышался гонг, оповещающий о конце обеденного перерыва. Все бросив, побежали через тундру. Издали увидели Зосю и Владаса.

— Закопайте до конца! — крикнули мы им.

За нарами Калковаса нашли черствый хлеб. Люди говорили, что Калковене бросит ему, бывало, какой-нибудь кусок, но, если он пролетал мимо, больной уже не мог его достать.

Сети ремонтировали только сухими. Мне приходилось ночами топить печку, чтобы развешанные в цеху сети скорее сохли и рабочие могли чинить их. Та печка, как и все остальные, была сделана из половины железной бочки с вставленной в нее жестяной трубой и вырезанными дверцами. Я закладывала дрова, ложилась на верстак, где днем работали столяры, клала под голову кирпич, на него — толстую ватную варежку и спала.

Просыпалась от холода, значит, дрова прогорели. Я снова накладывала полную печку дров, поправляла развешанные сети и опять ложилась на верстак.

Франс Миндаев, который жил у нас, работал плотником. Приходя домой, он обычно рассказывал что-нибудь новое. Однажды он спросил, доводилось ли нам есть строганину. Мы не знали, что это такое.

— Деликатес, вот увидите, какой это деликатес! Пальчики оближете! — заранее радовался он.

Он взял большого муксуна, сначала постучал по нему палкой, потом снял кожу вместе со всей чешуей. Мы, разинув рты, смотрели, как ловко орудуют большие волосатые руки Франса. Он ухватил рыбу за замороженный хвост и большим ножом стал срезать самые настоящие стружки, которые, завиваясь колечками, падали на стол. Сложив стружки в миску, он залил их уксусом, посыпал солью и перцем. Когда блюдо было готово, он обратился к нам с любезным поклоном и широким жестом руки пригласил:

— Прошу вас, мои милые литовцы, пожаловать к столу!

Осторожно, двумя пальцами, мы взяли по кусочку строганины. Чудесная вещь! Жирная замороженная рыба немного напоминала литовское сало. Она так и таяла во рту. Впрочем, рыбы становилось все меньше, и для нас снова начались голодные дни.

Приближался Новый, 1944-й, год. Встретить его мы снова собрались в первой юрте. Я сочинила по этому случаю песенку, которая начиналась так:

На севере дальнем, где Яна течет,
Живет меж якутов литовский народ.
Два года прошло, как сюда нас пригнали,
Мы все постарели, мы все приустиали...

Было грустно. За один год столько утрат. Потеряли мы и надежду на скорое возвращение домой. Всем было ясно: привезли нас сюда, чтобы мы ловили рыбу для

фронта. Землепашцы воевали, на хлебных полях взрывались бомбы. Пока шла война, ни на что лучшее нам рассчитывать не приходилось. Свои, советские, погибали на фронте от пуль и снарядов, мерзли, месили сапогами грязь, мокли под дождем, недоедали и каждую секунду смотрели в лицо смерти. У нас, чужих, была над головой не Бог весть какая, но все-таки крыша, был всегда кусок хлеба если и небольшой, то все же гарантированный. К тому же и русские уже перестали над нами издеваться, потому что убедились в нашем трудолюбии и добросовестности. Вот и сейчас мы в тепле встречаем Новый год, а что в эту минуту делают солдаты? Шагают по команде, убивают, умирают... Не было того настроения, как при встрече 1943 года. Все вспоминали погибших или умерших близких. Немного посидев, я вернулась в нашу юрту и легла спать.

Галковский уехал в Кресты, где находилось все руководство рыбного предприятия, и обратно уже не вернулся. На его место назначили горбатого Иванова. У нас отмечали двадцатую годовщину смерти Ленина. Комсомольский секретарь Зина Коренева организовала митинг, на который пришел и бывший поп Вилкойской колонии прокаженных Сергей Лесин. Сильно выпивший новый завпром предложил избрать в президиум себя, Зину Кореневу и попу Лесина. Вкратце объяснив, что двадцать лет назад мы потеряли вождя — строителя коммунизма, поэтому у нас теперь только социализм и черт знает, когда мы этот коммунизм увидим, он сам усмехнулся и сказал:

— Лекция окончена. Теперь танцы!

Зина толкнула его кулаком:

— Товарищ Иванов, какие могут быть танцы?! Сегодня годовщина смерти Ленина!

— Ну и что? Кто верит, ступайте с попом молиться, а кто не верит — танцуйте!

Скоро нам прислали нового завпрома Бочкарева. А Иванова мы больше не видели, и никто не знает, куда он подевался.

Дни становились длиннее. Летом штормом разбило баржу с рыбой, в бочки попала пресная вода, и рыба стала портиться. Надо было ее переработать — промыть в соленой воде и, заново посолив, снова сложить в бочки, чтобы, еще будучи съедобной, она через море Лаптевых попала в Лену, а оттуда на фронт. Поэтому нас — несколько человек — отправили на участок Воронина, где стояли выгруженные бочки с портящейся рыбой. Хотя рыба уже немного согрелась, но оставалась такой невыносимо холодной, что ее было больно держать в руках. Рыба действительно слегка пахла, но мы слышали о байкальском омуле «с душком» как о деликатесе. К тому же нам уже приходилось есть протухшую ряпушку, от которой никто не умер, поэтому мы решили, что и эта рыба съедобна. Попробовали. Очень вкусно. Хлеб у нас был, была эта подпорченная рыба, и мы жили совсем хорошо, только все время страшно хотелось пить. Мы бегали к проруби и, лежа на животе, пили из Яны холодную воду. По утрам вставали с заплывшими глазами. Потом стали хитрее: брали большую рыбину, пропускали через жабры веревку и опускали в прорубь. В проточной воде она быстро вымокала. Однако вымоченную рыбу стали воровать другие рыбы. Теперь вымачивали в ведрах — из ведер воровали собаки. «Ну и страна! — подумала я. — Все воруют: мы — у государства, у нас — собаки, и даже рыбы воруют!» Теперь уже и литовцы к таким делам привыкли, только называли это не воровством, а заимствованием.

Лед начал таять, вода поднялась и широко разлилась, льдины оторвались от берегов. Хлеб весь вышел. Начался полярный день. Вся середина Яны была еще скована льдом, только вдоль берегов, по уже освободившейся ото льда воде, с верховьев плыли льдины, бились о ноздреватый лед, крошили края, и полоса сплошного

льда становилась все уже. За хлебом надо было ходить в Ситцевку. В Коугастахе жила эстонка по фамилии Таннер, у нее было двое взрослых сыновей. Один из них работал вместе с нами. И вот он решил в четыре часа утра идти за хлебом. Если у него получится, пойдём и мы, несколько храбрецов. Юргис Гасюнас переправил эстонца на лодке до льда. К лодке была привязана веревка, к ней — доска, и если перебросить ее на край льда, то по ней можно пройти. Лед хотя и достигал в толщину двух метров, но был уже ноздреватым и крошился под тяжестью. Таннер ушел и исчез из нашего поля зрения. Раз не вернулся, значит, можно идти и другим. Микис Вайшвила, его сестра Регина Вайшвилайте, Юргис Гасюнас, я, наш сосед по юрте и две финки отправились в путь. Старик финн на лодке отвез нас на середину реки. Кое-как вскарабкались мы на лед и отправились по направлению к Ситцевке. До дома шесть километров, а там кто-нибудь на лодке возьмет нас. Лед местами был уже голубым. Микис сделал неосторожный шаг и провалился, едва успев вытащить руки, на которых и повис. У финок были с собой полотенца — мы поспешно связали их, бросили один конец Микису, а за другой ухватились и вытащили его. В том месте, где он провалился, на поверхности, как гигантская хризантема, с хрустом поднялись ледяные свечи. Это был урок всем нам — по голубому льду мы проползали или обходили его. Я подняла голову. Ситцевка рядом, в каком-нибудь полукилометре, но... там уже нет льда. Вдоль всего берега Яны плескалась чистая вода. Мы обмерли и поспешили назад. Только финки в надежде, что кто-нибудь заметит их и подплывет, чтобы снять со льда, продвигались дальше. Солнце быстро растапливало лед, мы почти все время ползли или скользили. Ноздреватый лед колыхался под ногами. Финки, поняв, что могут погибнуть, тоже повернули назад. Было видно, как вдалеке они ныряют — одна выкарабкивается, другая уходит под воду. Так, связавшись полотенца-

ми, они вытаскивали друг друга. Юргис, обернувшись, крикнул им: «Что вы там делаете?» — «Купаемся!» Однако было не до смеха. Кое-как добравшись назад, до участка Воронина, мы стали кричать, чтобы кто-нибудь услышал и приплыл за нами. С берега дул сильный ветер и далеко уносил наши крики о помощи. К тому же была уже ночь, люди спали. Ледяная полоса становилась все уже и уже. Долго ли еще она выдержит нас? Микис заплакал. К счастью, из юрты по нужде вышла Шапаускене. Мы стали кричать изо всех сил. Шапаускене заметила нас, помахала рукой, словно прощаясь, и вернулась в юрту. Неужели она ничего не сделает? Однако вскоре показался старик финн, взял прислоненные к юрте весла и приплыл за нами. По перекинутой по ломающемуся льду доске мы влезли в лодку. Приближались зовущие на помощь финки, и мы стали дожидаться их. Плывущие из верховий льдины бились о бока нашей лодки и в любой момент могли ее перевернуть или разбить. Вдруг мы увидели плывущую на нас огромную льдину. Перепугавшись, схватились кто за весло, кто за шест и, держа наизготове свое «оружие», приготовились встретить ее. Уперли в эту льдину у кого что было и толкали ее вниз. Льдина погрузилась в воду, оказалась под лодкой и, к счастью, зацепившись за ледяной выступ, медленно с хрустом ушла под лед. Наша лодка приподнялась, а потом шлепнулась в воду. Мы кое-как удержались, не перевернулись. Ползком, уже чуть ли не по воде, добрались до лодки и финки. Мужчины оттолкнулись ото льда и, сильно налегая на весла, врезались в крутой берег. Корма лодки от удара погрузилась в воду, а так как я именно там сидела, то окунулась по горло в ледяную воду. С трудом выбравшись на берег, я дрожала от холода и страха. В юрте переделась и над печуркой подсушила промокшую телогрейку, которую купила по талону как спецодежду. Мы остались живы. Приведа себя в порядок, выглянули в окно. Яна была чистой ото льда. Прошло всего 15—20 минут после нашего возвра-

щения на берег. На другой день, когда одежда высохла, мы пошли по левому берегу в Ситцевку. Нас увидел Витас Скрыбулис, подплыл на лодке и отвез домой.

Мы взяли хлеб и возвратились на работу. Зося попросила одолжить ей пятьсот рублей на пальто. Ядзя предупредила: «Не давай, не вернет Зоська долга», но мне не верилось, и я одолжила. Юргис дал почитать книгу Г. Мало «Без семьи». Как давно не держала я в руках книгу! Обливаясь слезами, я читала историю несчастного подкидыша. Кончилась она благополучно. Быть может, роман нашей жизни тоже кончится хорошо? Но тут же вспомнились Римантас, папа и многие другие, которые никогда уже не вернуться в Литву.

В свободное время я выводила карандашом на мешках контуры детских рисунков. Литовские женщины, выдернув из какой-нибудь цветной тряпки нитки, вышивали и вешали на закопченных стенах эти свои работы. За работу мне приносили курево, заимствованное у мужчин. В семье Калковасов порядка по-прежнему не было, Калковене продолжала прятать пищу от больших детей. Правда, Ядзя никогда мне не жаловалась, хотя знала, что у нас есть мука и мы охотно даем ее нуждающимся. Только маленькая Галинце, когда я спрашивала, есть ли у них пища, отвечала: «Нет, тетя Юрате!» Тогда я насыпала в жестяную банку муку, и девочка приносила ее домой. Никто никогда не сказал мне за это спасибо, а с Ядзей мы об этом не говорили.

Моей мечте собрать столько черных ниток, чтобы связать себе чулки, так и не суждено было осуществиться. На танцы я ходила, сунув босые ноги в сапоги. Никому и в голову не приходило, что по такому морозу можно ходить без чулок, поэтому русские женщины удивлялись: «Какие прекрасные чулки у Юрате — телесного цвета!»

Однажды прихожу я к Ядзе, смотрю — она дает Владасу свой золотой крестик, который на нее надели при крещении, чтобы он продал его на пристани.

— Ядзя, ты что, с ума сошла?! Такую вещь продавать! Чтобы какая-нибудь алкоголичка или распутница носила его?!

— А что мне делать? Ни денег нет, ни хлеба, — разволновалась Ядзя.

— Сколько ты за него хочешь?

— Сто рублей...

Я сбегала домой, взяла из своих денег сто рублей, отнесла их Ядзе, взяла крестик с цепочкой и надела себе на шею.

— Отдам, когда поедем в Литву, — сказала я.

Работы, на которые нас ставили, без конца менялись. Теперь мы кололи каменную соль, которую потом мололи на мельничке наподобие той, что смастерил Ясевичюс из деревянных жерновов. Весь цех был пропитан солью, настолько пропитан, что, и придя домой, и умывшись, мы еще долго откашливались солью. Инзялис там был назначен бригадиром, потому что новому завпрому Бочкареву комендант-доносчик не был нужен. Зарабатывал бригадир неплохо. Однако он стал худеть, худеть, пока совсем не высох и не умер. Никто Инзялиса не оплакивал, а мама сказала Микису Вайшвиле:

— Видишь, как быстро судьба сквитала с ним счета! А ты чуть не замарал руки об него, когда за топор схватился!

С этой работы я ушла, боялась кончить, как Инзялис, — я уже чувствовала в груди странную боль. Пошла работать носильщиком на баржу. Там меня назначили бригадиром. Когда кто-нибудь спрашивал, где бригадир, то слышал в ответ: «Девушка с крестиком на шее». Однажды подошел ко мне мужчина и предупредил: «Девушка, сними с шеи крестик, а с руки кольцо, а то здешние кавалеры могут тебе отрезать голову и палец».

Мы начали возить с пристани доски. Они были такими длинными, что на одних санках не умещались. Поэтому вчетвером мы взяли двое санок и соединили их досечками, которые запрещалось брать, так как они шли

на внутреннюю обивку кают кораблей. Длинные доски мы укладывали поперек санок и, закрепив их веревками, в каждые санки впрягались по двое. Однако в нашей четверке был Витас Скрябулис — крепкий парень, и первые санки он тащил один, а вторые — мы с мамой. Этот Скрябулис был со странностями. Какое-то время он работал на том складе, который сторожил Вайдеутис. Когда у брата пропал топор, он спросил:

— Витас, ты не брал топора?

— Ей-Богу, не брал, вот давеча, когда дощечки украл, не стану врать, было дело, а топор, ей-Богу, не крал!

В другой раз, когда его спрашивали, не брал ли он пилу, отвечал:

— Клянусь, не брал! Вот топор тогда взял, а пилу, ей-Богу, не брал!

И вот однажды, украв красивые струганые дощечки, мы засунули их между большими досками. Связав санки, направились домой. Тащить было тяжело, обутые в торбаса ноги разбивали утоптаный снег. Устав, мы останавливались, садились на санки и переводили дух. Спешить было некуда. Вдруг мы увидели, что от пристани к нам быстрым шагом идет мужчина. Мы были последними, потому что отстали от тех, кто тащил сани вчетвером. Мужчину мы узнали — это был завскладом. Молодой и красивый. Мама сказала мне:

— Говори ты, ты молодая!

Он приближался. Бежать было некуда. Кругом на три километра замерзшая река. Санки не бросишь. Он подошел и грубо закричал:

— Снова дощечки ломаете! Я говорил, это запрещено!

— Простите, мы не знали... — промямлила я виновато.

Взбешенный завскладом пнул ногой наш груз. Передние санки, не выдержав удара, перевернулись и переломились. Доски раздвинулись, и стали видны спрятанные в них обработанные дощечки.

— Мало того что для поперечин доски выламываете, так еще и воруете? Отдам под суд!

Он собрал дощечки, сунул под мышку и пошел в сторону пристани, ворча: «Вот вернусь и скажу завпрому». В полной панике мы обсуждали, что теперь будет. Слесорайтиса за кражу бревнышка, лежавшего возле конторы, осудили на год... Мы переложили доски на оставшиеся целыми санки. Доски волочились по снегу. В молчании мы приволокли санки к дому. Мама бросилась прятать сунутые под нары ворованные дощечки. Тем временем пьяный конюх задел и сломал те единственные санки, что у нас еще оставались. Мама снова вытащила дощечки, сложила их на нары и позвала Алюкаса Ясви-чюса, чтобы он отобрал подходящие, из которых можно будет сделать новые санки. На столе тускло светила керосиновая коптилка. Уже привезли керосин, который мама продавала по списку, и у нас в комнате всегда стояла вонючая жестяная бочка. Алюкас рассматривал дощечки. Мама закрыла дверь на крючок, чтобы никто не зашел. Вдруг хлопнула наружная дверь.

— Откройте! — В нашу дверь стучал завпром.

«Господи, уже успели сообщить!» — мелькнула мысль.

— Минутку подождите, — ответила мама.

— Откройте немедленно! — требовал начальник.

— Скажите, что вам надо.

— Надо обыскать вашу комнату!

Мы погибли! Мама задула коптилку, бросила на дощечки тулуп Даумантаса и откинула крючок.

— Почему темно?

— Нет керосина.

— Керосином торгуешь, а у самой нет! — Он чиркнул спичкой и зажег коптилку, фитиль которой еще дымился.

— Зачем врешь?

— Видите, дочь переодевается, а тут посторонний молодой человек... — врала мама.

В комнате мы были вдвоем с Алюкасом, потому что Вайдас постоянно сидел у Закарявичюсов в обнимку с Гене. Начальник приподнял тулуп, бросил его обратно на дощечки, ощупал нары, присел на корточках с коптилкой в руке и заглянул под них.

— Где Цурканис?

— Тут нет никакого Цурканиса, — ответила мама.

— А где он может быть? Не знаете?

Получив отрицательный ответ, он пошел к Ясви-чюсам. Марите сказала, что видела Цурканиса в юрте Закарявичюсов. Начальник ушел. Дощечки его не интересовали, а Цурканиса он искал потому, что тот, оказывается, подделывал продуктовые талоны и продавал их. Нашел его в юрте у Закарявичюсов и увел. Больше никто Цурканиса не видел. Дощечки мы вынесли из юрты и сложили на крыше. Если кто-нибудь спросит, чьи они, скажем, что знать ничего не знаем.

— Пошли поскорее ляжем, пока ничего плохого больше не случилось: ведь сегодня тринадцатое, да еще и пятница! — сказала мама.

Хотя было еще довольно рано, мы легли. На другой день получили новые санки. Снова пошли на пристань. Увидев завскладом, я прикрыла нос шарфиком, но, видимо, о вчерашней встрече он уже позабыл.

Стало тепло. Однажды я шла по тундре на другом берегу Яны и увидела грибы, настоящие, потрескавшиеся на солнце подберезовики на тонких ножках и с шапочками сантиметров пять в диаметре. Это было чудом: на далеком Севере, где под десятисантиметровым слоем почвы лежит вечный лед, на кочках возле миниатюрных березок высотой не более двадцати сантиметров росли подберезовики! Я насобирала полный подол и принесла домой. У нас был в тот день незабываемый изысканный обед. Потом я пошла на то же место, набрала целое ведро, и мама засолила. И никогда больше я не находила ни единого гриба — они как появились, так и исчезли, будто мираж.

Теперь я снова работала на засоле. Послали в Илин-шар, если по прямой, то это километров четырнадцать. Летом очень трудно идти по тундре — с кочки на кочку, а кочки эти мягкие, мокрые, ноги вязнут... К тому же всякие озерца, овражки, которые надо было обходить. Так что дорога получалась чуть ли не вдвое длиннее. Вместе со мной работала и Ядзя. Как-то раз, вернувшись в Ситцевку за продуктами, мы решили не идти пешком, а на якутской лодке плыть по Яне до моря Лаптевых, потом морем и по одной из протоков добраться до места лова и цеха засола.

Эта наша прихоть чуть не окончилась трагически. Когда наконец добрались до места, все удивлялись, как это мы остались живы. Все ахали и охали, только один старик Шапаускас, устроившись на солнышке в безветренном месте, молча и сосредоточенно собирал и бросал на землю крупных вшей. Что же до бактерий, то это был Север, и все они погибали. За все время никто не подцепил никакой инфекции, а, казалось бы, в наших условиях от одной инфекционной болезни могли бы вымереть все. Бактерии погибали, а мы выжили! Все-таки очень выносливое существо человек!

Когда я вернулась домой, мама рассказала, что отдала члену экспедиции Пете — она и фамилии-то его не знала — двое своих золотых часиков. Петя, большой неуклюжий человек, увидев мамины часики, сказал, что вообще-то он часовщик, а в экспедицию завербовался для того, чтобы побольше заработать. Мама поверила ему и отдала свое богатство. Повстречав начальника партии Чуркина, мама поинтересовалась, когда вернется из экспедиции Петя. Однако Чуркин объяснил, что в Коугастахе он больше не появится, а поедет прямо в Ленинград. Мама очень расстроилась и рассказала ему о часиках. Чуркин усмехнулся: «Достаточно было взглянуть на его пальцы! Разве такими граблями чинят часы? Но в тундре их ему не продать, я сейчас еду туда, если хотите, можете поехать со мной». Мама поехала с Чур-

киным в тундру, километров за сто от Коугастаха. Петя часики вернул, и мама пешком по берегу реки вернулась домой.

В Коугастах приехали работники военкомата. Это были двое военных — один якут, другой высокий красивый русский. Мы с Ядзей стали готовить концерт. Ральчинене учила нас по-русски петь цыганские песни.

16 января — день рождения Юргиса. Он пригласил меня в гости, я пообещала прийти, но мои планы спутали эти приехавшие военные. У финских и немецких женщин мы одолжили длинные юбки и цветастые платки. Из бумаги вырезали огромные серьги и подвесили их на нитках. И в самом деле стали похожи на красивых молодых цыганок. Однако я была простужена и совсем охрипла, поэтому уже днем предупредила Юргиса, что не приду к нему. Настоящая же причина была другая: мне хотелось хотя бы посмотреть на культурных мужчин, прибывших из цивилизованного края. И себя показать... Договорились, что Ядзя петь будет одна, а я под ее пение буду танцевать. Поскольку в детстве я посещала балетную студию Броне Курмите и к тому же обладала кое-какими артистическими способностями, наше выступление удалось на славу. Главное, что оно очень понравилось зрителям. После концерта были танцы. Нас, еще не переодевшихся, все время приглашали военные: меня — красивый русский, а Ядзю — якут. Потом русский пригласил нас обеих в гости к доктору Карачину. Я с радостью согласилась, сказала только, что надо зайти домой переодеться. Ядзя идти отказалась — была недовольна, что за ней ухаживал якут, а не его красивый товарищ. Одной идти не хотелось. Но дома у Ядзи мы застали Зосю, которая охотно согласилась составить мне компанию. Военный зашел со мной в нашу юрту. Мама задернула простыню, за которой я переоделась. Я нарядилась в белое платье в синий горошек, сверху набросила накидку. Теперь я выглядела почти как в Литве. Верхняя часть смотрелась довольно хоро-

шо, но нижняя! Нижняя — сапоги, голые икры — никак не вязалась с летним платьем... Впрочем, она будет под столом! Мама не возражала, потому что знала, как мне хочется хоть немножко развеяться, к тому же мы шли к серьезному, семейному человеку, да и мне она доверяла. Когда я уже собралась, стукнула дверь и появился Юргис в расстегнутом тулупе.

— Юрате, куда это ты?

— Не твое дело!

— А знаешь хоть, с кем идешь?

— Знаю, — ответила я спокойно.

— Никуда я тебя не отпущу!

— Ты кто мне? Муж?

— Все равно не позволю тебе шляться со всякими авантюристами!

Военный стоял и молчал, но было видно, что он догадывается, о чем речь. Я строго попросила Юргиса пропустить нас.

— Ко мне на день рождения прийти не смогла! Больную изобразила! — крикнул Юргис и выскочил на улицу.

Зося, когда мы зашли за ней, была уже готова, якута она не отвергла. До больницы примерно километр. Коленкам было холодно, но ведь это уже не первый раз. У Карачина было очень уютно и тепло. Жена, молодая якутка, накрыла стол, поставила и разбавленный спирт. По-русски мы говорили уже не хуже Карачиных, вечер прошел весело. Когда я собралась уходить, мой кавалер стал уговаривать меня остаться, но я решительно сказала, что мне пора домой. Зоська осталась с якутом.

Я надела телогрейку, поблагодарила Карачиных за угощение и теплый прием. Военный предложил проводить меня, я не возражала — он был вежливый, приятный и, по всей видимости, настоящий джентльмен. Шли мы быстро, потому что у меня страшно мерзли колени и голени. Мы уже подходили к магазину, за которым были наши юрты, как «джентльмен» вдруг остановился, по-

спешно снял и бросил на землю шубу, схватил меня в охапку и повалил на шубу. Я перепугалась, так как поняла, что за толстыми, выложенными дерном стенами и ледяными окнами моего крика не услышат ни мама, ни друзья. Внезапно мелькнула мысль: Гирчис сторожит магазин! И я закричала изо всех сил:

— Господин Гирчис, спасите! На помощь!

— Кто там? Стрелять буду! — услышала я громкий голос Гирчиса.

Военный вскочил, подал мне руку и помог встать.

— Дура! — бросил он насмешливо.

«Негодяй!» — подумала я и побежала домой.

Ловить рыбу пришел к нам из поселка Кресты Юргис Масюлис со своим другом ленинградцем Алькой Лавриновичем. Они принесли нам вести о литовцах, которых тогда, в самом начале, повезли на баржах вверх по реке. Мы узнали, что Веруте с Юргинасом живут в Романсыре. Мы тоже захотели перебраться туда, но надо было ждать коменданта, который приезжал два раза в месяц и расписывался в наших «волчьих билетах». Комендант дал свое согласие. Опасаясь, что больше не встречу с Ядзей, я вернула ей крестик. Мы уже могли ехать, вот только Вайдевутиса не хотели отпускать из колхоза. Мама написала письмо начальнику госбезопасности Бирюкову и отправила через коменданта. Мы остались ждать ответа.

Франс все еще жил у нас. В последнее время у него постоянно болел правый бок. Он предполагал, что это аппендицит, и поехал в Тикси. Через месяц вернулся уже прооперированный. У него на голове красовалась белоголубая шапка из лапок северной лисы.

— Какая великолепная шапка! — восхитилась я. — В жизни такой не видела!

Франс снял ее и протянул мне:

— Меняемся?

У меня тогда была белая заячья ушанка, купленная за пятьдесят рублей.

— Почему? — спросила я.

— В мою с боков поддувает, и уши мерзнут, твоя намного теплее...

Я не поняла, что он просто хочет сделать мне приятное, потому что его лисья шапка была раз в пять дороже моей.

Маме Франс привез в подарок настоящую американскую простыню и пару кусков ароматного мыла — мы такого с Литвы не видели.

Раз, зайдя к Ядзе, я застала Владаса, который собирался идти на пристань. Он еще спорил с Ядзей, сколько просить за тот крестик.

— Ядзя, я же подарила его тебе с условием, что не продашь!

— А что делать? Совсем нечего есть, а это единственная вещь, которую мы можем продать, — ответила Ядзя.

Я сбегала домой, принесла ей пятьдесят рублей и взяла крестик:

— Теперь получишь его, только когда в Литву поедем!

Из Якутска приехал какой-то театральный работник. Он ходил по юртам и спрашивал, у кого есть какие-нибудь красивые вещи для продажи. Люди сказали, что у мамы есть необыкновенный халат. Да, тот самый халат, который тетя Оните вышила в японском стиле. Однажды, когда было очень трудно и нас охватило отчаяние, когда нам угрожала голодная смерть, мама сказала мне:

— Я точно не выживу. Дарю тебе этот халат, он будет напоминать обо мне и о тете Оните...

Мы не верили тогда, что останемся живы. А вот теперь нашелся покупатель на наш халат. Мы думали, как поступить.

— Где я стану в нем ходить? Тут, в юрте? И ждать, пока он не примерзнет к стене или не сгниет от сырости под нарами? Лучше уж продать...

Мы решили продать и халат, и вечернее платье, и французские духи, потому что это был первый и — как знать, — быть может, последний покупатель на эти шикарные вещи. Когда мама отдала платье с большим букетом искусственных цветов, я заплакала.

Портфель, в котором сохранился стойкий аромат французских духов, я время от времени открывала и наслаждалась этим запахом, как прекрасными воспоминаниями. В 1962 году в Каунасе, когда мы переселялись из частного дома в полученную от государства новую квартиру, я выбросила этот потрепанный кожаный портфель, все еще пахнувший французскими духами. Это был один из последних свидетелей моей молодости.

Разрешение на переезд в Романсыр получили только мы с мамой. Вайдеутиса из колхоза не отпустили. Этот Романсыр был примерно в ста километрах от нас. Мы решили, что ничего страшного, если Вайдас пока что останется здесь. Оставили ему все, что могли оставить. Я написала Зосе записку, чтобы деньги, которые я ей одолжила — пятьдесят рублей, — она отдала Вайдасу. Что она должна мне пятисот, я писать побоялась, потому что рядом стояла мама и уже бранила меня за то, что так много — пятьдесят рублей — я дала ей в долг. О тех пятистах я потихоньку шепнула брату.

Позже Вайдас рассказал мне, что Зося его обманула — вместо пятисот рублей сунула талоны на муку, которую надо было еще выкупить за пятьдесят рублей.

Простившись с Вайдасом и Юргисом Гасюнасом, мы покинули Коугастах — нашими руками построенный, слезами окропленный, насквозь промерзший, получивший прозвание Ситцевка. Мерно постукивая, катер поднимался вверх по Яне. Миновав излучину, мы увидели на берегу большой деревянный крест, поставленный Вайдеутисом на месте гибели Римантаса. Мы с мамой стояли, обнявшись... Катер плыл дальше, на прибрежных обрывах то тут, то там поблескивал обнаженный проливными дождями лед. Миниатюрных березок здесь

не было, кое-где виднелись низкорослые лиственницы. Берега становились все круче, наконец показался голый остров, на котором стояло несколько юрт. Это и был Романсыр (Земля Романа). Здесь жили наши знакомые: семья Бируте Швилпайте, Банюлене с Даной, Каулакис Янушас с сестрой Галиной, поляки Стратавичюсы, Пахлевскисы, Владас Казела, сестры Варнайте Поля и Броня с матерью, Слесорайтисы, тоже перебравшиеся из Коугастаха, и еще Виленишкисы, только Веруте с Юргинасом уехала работать в Камелёк, где директором был Суслов, брат того Суслова, который работал в Москве, в Центральном Комитете. Мама Даны, конфисковавшая у нее мой чулок с табаком, меняла по шепотке курева на муку, и так они спасались от голода.

Когда я впервые встретила с девочками, которых давно не видела, меня охватила зависть. Все были одеты красиво и почти одинаково — серые юбки и белые кофточки. Кофточки эти были из сетей: сети распускали, полученную толстую нить раскручивали на тонкие и уже из них каждая вязала, как умела. У берега стояла баржа, с которой литовцы разгружали соль. Дануте Банюлите изящно шла по трапу, подходя к куче соли, подставляла мешок, едва рабочий успевал бросить туда пару лопат соли, как она уже кричала: «Ой, много, много, спасибочко!» — и, легко забросив этот почти пустой мешок на плечи, вихляя бедрами, легко спускалась вниз. После лова, чтобы барышни не промочили ножек, Янушас Каулакис и Владас Казела на спине выносили их на берег.

Мы представились местному завпрому, красивому, молодому человеку Азёмову, который уже был женат на Винце Птакаускене — теперь ее звали Валя Азёмова. Этот Азёмов велел нам поселиться в бочарной мастерской — просторной юрте, в уголке которой мы с мамой сколотили себе нары. Субботними и воскресными вечерами здесь устраивали танцы. Днем мы с мамой уходили в тайгу, где росли лиственницы высотой метра два и толщиной с руку. Наша работа заключалась в том, чтобы

находить сухие, пригодные для печей дерева, рубить их и на санках отвозить к конторе. Это было нелегким делом. Позже я одна тащила лиственницы, потому что маме велено было рубить их. Так бывший художник Театра оперы и балета госпожа Наталия Бичюнене тупым топором колола дрова, чтобы господину Азёмову, который и подписаться-то толком не умел, не было холодно сидеть в конторе.

В один из вечеров, когда собравшаяся в мастерской молодежь весело танцевала, не выдержала и я. Вскочила с нар, притопнула ногой и пошла, раскинув руки, по кругу. Потом в присядку пустилась по всей мастерской. Все хлопали, не хотелось сдаваться, и я танцевала до тех пор, пока не упала, обливаясь потом, на нары. Чтобы скорее прийти в себя, я полуодетая, без шапки выскочила на улицу, где трещал настоящий северный мороз. Ночью проснулась от нестерпимой боли в ухе. Утром пошла в поликлинику. Единственный врач Кошкин, который, кстати, был женат на Вайшвилене, матери Микиса, поставил диагноз — воспаление среднего уха — и положил в больницу. Вайшвилене ставила мне компрессы, густо, словно маслом, намазывая ихтиолом. Больница — домик из трех комнат. Одна — приемная врача и процедурный кабинет, в другой оборудована кухонька, а третья — самая большая — была предназначена для больных. На одной койке, отгороженной простыней, лежал молодой парень Альгис Бложе с больной ногой, рана на которой никак не заживала. По другую сторону простыни лежали я и роженица.

Моя соседка Валя родила девочку. Оказалось, ее мужем был тот самый Афоня, который приезжал в Коугастах, сватался к Бируте Лукошайтите и говорил, что не женат. Через некоторое время боль в ухе прошла. Кошкин удивлялся: «Чудо! Еще немного, и гной разрушил бы кость, но мой эксперимент удался: простой ихтиол помог, нарыв вскрылся и гной вышел, а ведь тебя следовало оперировать. Чудо!»

Вернулась я уже не в мастерскую: мама попросилась жить к Слесорайтисам. Юрта была небольшая, но в ней умещались Слесорайтисы, русская женщина со своим сожителем, дочкой Аллой лет десяти и годовалым мальчиком-рахитиком — его имени никто не знал, потому что и мать, и отец, и сестра называли его Клопиком. Впрочем, кроме него, клопов было столько, что они ползали даже по столу. Возле дверей, где было еще немножко места, мама сколотила нары. На них мы с ней спали валетом. Моя голова была рядом с дверью, которая не закрывалась, поэтому по утрам на моих волосах был иней. Чтобы снова не заболеть, я обвязывала голову тряпкой. Мамина голова была возле ног Слесорайтиса, и во сне он клал свои провонявшие потом ноги маме на голову.

У мамы теперь была другая работа — она распускала сети, чтобы были нитки для ремонта сетей. Алла просилась к ней в помощницы. Мама согласилась, но скоро заметила, что девочка сначала сматывает нити в клубок, а потом ловко своими маленькими пальчиками разматывает их и сует в рукав. Сети выдавались маме по весу, по весу же надо было сдавать и нитки, поэтому она рассказала всё Аллиной матери. Та выпорола девочку, а нитки вернула.

Молодой человек Альгис Индрюнас привез кино из райцентра Казачье. Сам показывал, сам деньги собирал. Мы уже столько лет не были в кино, что оно показалось нам настоящим чудом. В фильме рассказывалось о каком-то колхозе, было немного и любви. Когда он кончился, мы невесело вздохнули. Вспомнились необыкновенные фильмы, которые видели раньше, нежные, лирические, без всякой пропаганды, без грубости. Вспомнили, что и сами жили среди совершенно других людей... и были другими...

Азёмова, ненавидевшего спецпереселенцев, из Романсыра убрали. Приехал новый завпром Лесников. Начался подледный лов рыбы. Мы перебрались жить в дру-

гую юрту, в отдельную крохотную комнатку. В этой юрте жили Бируте Швилпайте с мамой и братом Витасом, а еще в одной маленькой комнатке — старый холостяк немец Дитрих. В нашей комнатке клопов было столько, что они просто не давали спать. Погасишь свет — и начинают атаковать. Выход только один: я сплю, а мама жжет свет — распускает сети, я встаю, иду возить дрова — мама спит, потому что спят и клопы. «Если бы всех наших клопов превратить в светлячков, то ночи были бы белыми», — говорили мы.

Ко мне стал наведываться Янушас Каулакис, тот самый, что угостил меня клецками, когда мы еще плыли на барже. Он рассказывал, что бывал в имении Синконяй, половина которого принадлежала моему папе — так завещала бабушка. Но мы туда никогда не ездили, потому что папа с дядей Генрикасом не особенно дружил, — я уже говорила, что тот считал себя поляком. После того как здоровье дяди, бывшего летчика, ухудшилось, он жил в Синконяй и иногда присылал нам в Каунас продукты.

Через какое-то время я узнала, что Янушас дружил с Полей Варнайте и она очень огорчалась, что Янушас ходит ко мне. В той же юрте жила старая дева полька Окулич, которая вела дневник. В нем она фиксировала все — даже то, когда какой суп варила. Весь поселок знал об этом дневнике. Заинтересовался им и комендант. Порывшись в вещах, нашел его. Среди прочего была там и такая запись: «Сегодня приходили Стратавичюс и Пахлевскис. Стратавичюс рассказал анекдот. Сидит на дороге ребенок и раскладывает конский навоз, сортируя конские яблоки по величине. Большие кладет спереди. Проходит мимо офицер и спрашивает:

- Что ты делаешь тут, малыш?
- Играю.
- Что же это за игра такая?

— Армия. Вот смотри, эти маленькие говяшки — солдаты, та, что побольше, барабанщик, рядом — офицер, а самая большая — генерал!

— А где же Сталин?

— Ой, что ты, дяденька, такой большой говяшки я еще не нашел!»

Окулич арестовали, больше мы ее не видели и о ее судьбе ничего не слышали. Стратавичюс за то, что рассказал этот анекдот, получил пятнадцать лет, а Пахлевскис — за то, что слушал, — десять. Пахлевскис через пару лет умер, да и Стратавичюс не дождался окончания срока.

Меня назначили в бригаду бурята Мишки Луняева, которой предстояло вести подледный лов на озерах. Утром, уложив в рюкзак хлеб, соль, белье, посуду, мы, руководимые Мишей женщины, отправились на озера. Палатку, печурку и рыболовные снасти Миша еще раньше перевез на собаках. В нашей бригаде были обе сестры Варнайте, Люда Кайрюкштите, дочь завпрома Воля Лесникова и финка Анька Лукина. Вышли в темноте — была полярная ночь. До озер, сказал Миша, километров десять. Мы шли так долго и трудно, что, несмотря на пятидесятиградусный мороз, даже вспотели. Впереди резво шагал Миша. Немного поотстав, гуськом ковыляли мы. На снегу, пусть и в полной темноте, были отчетливо видны протоптанная тропинка и силуэты лиственниц. Шли молча. Вдруг перед нами промелькнула темная тень и на мгновение сверкнули два огонька. Мы все хором заорали:

— Миша-а-а!

— Чего кричите? — слышался поблизости спокойный Мишин голос.

— Волк! Волк! — в панике орали мы.

— Да не кричите вы, дуры, что он один вам сделает? Меня пропустил, а вас много, пришлось бы долго ждать, вот он и решил перейти первым.

Успокоенные веселым Мишиным голосом, мы брели дальше. Подошли к какой-то пещере.

— Девчата, тут крутые берега, нам не влезть, но смотрите сюда: похоже на пещеру, правда? Но это не пещера, это провал в земле, через который вытекло озеро! Над ним снег, придется проползти метров десять. Ползите осторожно, не касаясь снега над головой, чтобы не обвалился, а то, пока руками откопаем, и задохнуться недолго.

Ползли по одной на ощупь. Миновав опасное место, каждая докладывала: «Все в порядке, Миша!» Тогда лезла следующая. Все благополучно одолели этот загадочный туннель. Пройдя впадину, где когда-то было озеро, и лесок, мы вышли на площадку, на которой чернела груда нашего снаряжения. Мы сразу же принялись за дело. Одни ставили палатку, другие рубили деревья на дрова, третьи кололи их. Мишка из бревен сколотил сплошные нары, на которые постелил привезенные доски и олени шкуры. Горела большая лампа. В палатке становилось все уютнее. А когда Миша установил печурку и в ней затрещал огонь, мы, с облегчением переведя дух, повалились на нары. Вскоре закипела вода. Мы поели хлеба, запили кипятком и собрались спать. Мишка лег и весело крикнул: «Ну, девчата, которая из вас согреет мне ноги?» — «Я!» — вызвалась Анька и полезла к нему под одеяло. Мы так устали за день, что спали, как мертвые. Утром разбудил Мишкин голос:

— Почему хлеб на полу оставили?! Надо было его повесить. Гляньте, что натворили горностаи!

Оказалось, что, пока мы спали, королевские зверьки горностаи преспокойно угощались нашим хлебом. Все куски были обгрызаны, а на снегу возле палатки отпечатались огромное множество их следов. Миша сказал, что мы все пойдем с ним на озера ставить сети и ловить рыбу, а кто-то один вернется раньше и приготовит еду. Озера были небольшими, почти круглыми, 200—300 метров в диаметре. Мы сразу же пробрили проруби и протя-

нули сети от одной к другой. Работали в телогрейках, ватных штанах и ватных рукавицах. У меня на голове красовалась подаренная Франсом шапка из лисьих лапок, которой я очень гордилась. Чтобы ветер не задувал в рукава, мы сшили теплые фланелевые нарукавники, нос завязывали шарфом. Легче всего было ловить баранатку — довольно крупную рыбу сантиметров 25 в длину. Баранатки спокойно плавали в сетях, словно только того и ждали, чтобы их выбросили на лед. Когда их вытаскивали, они несколько раз подпрыгивали, шлепали хвостом и замерзали. Однако, кроме этих покорных рыб, в озерах было много щук. Они сильно бились, путали сети, нити цеплялись за их острые жабры и зубы. Тех мы вытаскивали из сетей рукавицами, а щук приходилось извлекать мокрыми голыми руками. От холода страшно болели пальцы, очень скоро ими уже ничего нельзя было ухватить, поэтому, прежде чем тащить сеть, мы расстегивали пару пуговиц ватных штанов, чтобы потом быстро сунуть окоченевшие пальцы в теплое место. Когда мерзли руки, так невыносимо начинали болеть от цинги ослабевшие десны, что просто жить не хотелось... Сети надо было беречь, следить, чтобы не порвались, потому что отремонтировать их пришлось бы на холоде голыми руками.

Продуктами пользовались все вместе. Из голов варили уху, жарили рыбу. Как-то раз я приготовила фаршированную рисом щуку. Всем очень понравилось. Миша часто просил:

— Ну, Юрка, сегодня на лов не пойдешь — приготовь маршированную щуку!

Так кулинарные способности хоть изредка спасали от этого жуткого замерзания рук. На десерт я поджаривала на сковороде с ничтожным количеством растительного масла овсяные хлопья и посыпала их сахаром.

Неожиданно утром началась метель. На лов не пошли. Ветер так разошелся, что трепал брезент палатки. Нары скрипели, не давая уснуть. Уже четыре дня мы не

высовывали носа из палатки. Метель не унималась. Кончились хлеб, рыба, крупа. Остались только соль и сахар. Что делать? Сколько еще будет мести? Когда появится Костя Третьяков, который раз в неделю привозил нам хлеб, крупу и забирал рыбу? Пару дней просидев абсолютно без пищи, мы решили добираться до Романсыра, пока еще есть силы. Миша шел первым. Мы плелись за ним, борясь с метелью, которая залепляла глаза, а на ресницах, как бусинки, висели льдинки. Шли молча, только время от времени кто-нибудь оглядывался, чтобы проверить, нет ли отставших. Я шла последней. Силы были на исходе.

— Ой, Миша, еще далеко? — спрашивала то одна, то другая.

— Скоро, девочки, скоро, потерпите еще немножко! — успокаивал наш спаситель Мишка-бурят, стреляный воробей, как говорил он сам о себе.

Теперь он боролся за нашу жизнь. Время от времени подбадривая нас, он не позволял ни остановиться, ни сесть: пусть хоть шаг за шагом, но продвигаться вперед. Было уже утро, когда показались первые огни Романсыра.

— Дойдешь сама до острова? — спросил Миша.

— Конечно! — ответила я.

Без дороги, вслепую, перешла я реку и, войдя в теплую, освещенную керосиновой лампой юрту, рухнула на нары. Мама, охая, раздела меня. Лицо и руки были обморожены, на коже образовались водяные волдыри. Мама накормила и напоила меня, и я заснула. Пурга не унималась еще три дня. Дома было тепло, уютно и спокойно. На работу ходить не надо — Кошкин выдал больничный лист. Но на танцы в субботу все равно пошла. Приближалось Рождество. Я выздоровела и ждала, когда снова придет время отправляться с Мишей на озеро. Но 21 декабря пришла Воля Лесникова.

— Поедешь на курсы мастеров засола рыбы? В Крес-ты? — спросила она.

— Разумеется. Только кто меня туда пустит!

— Отец получил бумагу — просят прислать пять девушек на курсы. Я попросила, чтобы он включил тебя, вдвоем веселее будет.

— Воля, подружка моя дорогая, какая же я счастливая! А меня точно пустят? А комендант?

— Все уже улажено!

Я схватила Волю в охапку и стала кружить.

— Так что завтра утром с бельем, одеждой и едой. До встречи! — сказала Воля и убежала.

Завтра Сочельник, которого я так ждала. Но Сочельники в жизни еще будут, а курсы, возможно, первые и последние. Дома была буханка хлеба, пятьдесят рублей и еще хлебная карточка на восемь дней. Я начала складывать вещи в «рюкзак»: одеяло, подушечку, простыню (мы по талонам купили две простыни). Уложила и ночную сорочку, которую мама сшила из старой простыни, а я вышила белыми и красными нитками — одни из распущенных сетей, другие из плаката. Мама велела взять буханку хлеба и пятьдесят рублей.

— А как же ты дотянешь до Нового года?

— Может, Бог даст, кто-нибудь купит простыню или поменяет на продукты.

Прощаясь утром, мы с мамой обе плакали. В контору я пошла загодя. Там уже сидела бывшая учительница Ядвига Борхертене, тихая, спокойная женщина. Скоро стали собираться будущие мастера засола и приемщицы рыбы — кто кем станет, будет зависеть от учебы. Пришли Люда Кайрюкштите, Воля Лесникова и Анька Лукина. Лесников пожелал всем удачи.

В Кресты мы отправились на своих двоих, шли гуськом — друг за дружкой. Было совсем темно. Вместо рюкзаков, у нас были мешки с веревкой, привязанной за углы, и даже через телогрейку она натирала плечи. Не спеша шли мы по реке, потому что другого пути просто не было. Все молчали, наверное, каждая мысленно строила планы на будущее.

В Тогутахе остановились у литовцев, выпили чаю, съели по ломтику хлеба и с новыми силами продолжили путь. К вечеру изрядно устали, заночевали в другом поселке и пошли снова. После Усть-Янска ноги сами пошли резвее: приближался наш «светоч счастья» — Кресты. Это название нас немного пугало. Позже довелось узнать, что восходит оно к тем далеким временам, когда казаки, добравшись до северных краев, принялись насаждать среди якутов христианство. Одновременно якутам давались славянские фамилии и имена. Например, если у якута были толстые губы, ему подбирали фамилию Мухаплев, больному трахомой — Слепцов, кривоногому — Барабанский и так далее. Имени «Иван» якуты и теперь не могли произнести. На вопрос, как его зовут, бедный Иван отвечал «Уйбан». А Крестами поселок называли потому, что там находилось казацкое кладбище с крестами.

И вот на берегу показалось несколько юрт, а подальше от реки стоял квадратный бревенчатый дом с плоской крышей, облепленной илом. Еще дальше был овраг, летом по нему текла речка. В том месте берег был совсем пологим, оттуда мы и вошли в поселок. На площади, слева от магазина, увидели большой деревянный дом — контору рыбзавода. Справа на берегу реки в деревянном домике обосновалась поликлиника. Поодаль стоял красивый, как картинка, двухэтажный дом прораба Василия Бреславского. В Литве его называли бы «дом с мезонином». Здесь, на мало населенном берегу Яны, где совсем недавно проплыл первый пароход, такой дом казался настоящим чудом. Были в этом поселке и школа, и столовая, и пекарня. Кончались Кресты маленькой юртой, которую построили себе братья Ульямперисы, а за ней шла дорога, ведущая в райцентр Казачье. Так вот как он выглядел, этот центр рыбной промышленности! Здесь обосновались все вывезенные на Яну евреи. Ни в Коугастахе, ни в Романсыре, ни в других окрестных поселках не было ни одной еврейской семьи. Видимо, они

понимали, что тут центр, понаехали и заняли все места в конторе, поскольку знали русский язык.

Когда мы пришли в Кресты, контора работала. В том доме было много кабинетов. Директором служил тогда татарин Хабидуллин, высокий, крупный брюнет. Одно ухо было у него слегка покалечено, и люди в шутку называли его конокрадом — дело в том, что у татар, как выяснилось, принято пойманным конокрадам отрезать кусочек уха. Жена у него была русская — невысокая, полненькая Дуся, с которой они вместе ходили мыться в баню. Над этим весь поселок тоже посмеивался.

Хабидуллин встретил нас холодно, позвал уборщицу и велел отвести нас в бочарную мастерскую. Там уже были сколочены двухэтажные нары и на них брошены матрацы. Я заняла место на верхних нарах — надеялась, тут будет теплее, потому что тепло от постоянно топившейся железной печки поднималось вверх. Идти никуда не хотелось, мы постелили белье и легли. Хлеб я положила рядом с собой — из того, что взяла в дорогу, оставалось еще полбуханки. Вдохнув, вспомнила маму — как она там без хлеба и без денег, а ведь сегодня Рождество... Весь мир, где нет войны, празднует. Мысленно я вернулась в Литву. На нарядной елке горят свечки, бенгальский огонь разбрасывает звездочки... Поставишь под елку туфельки и ждешь, когда же ангел положит в них подарок. Интересно какой?.. Вспомнила я и папу. Где он? Жив ли? Если жив, то что теперь делает? Но скоро сон сморил меня.

Утром нас разбудила уборщица. Она велела выпить чаю и под звуки гонга идти в контору. Кто-то уже затопил печку и вскипятил большой медный чайник. Кипяток, казалось, тек по жилам, согревая окоченевшее от усталости и холода тело. Послышался гонг. В коридоре конторы нам снова встретился Хабидуллин. Мы пожаловались, что спать было холодно, что кончаются хлеб и деньги. Он велел идти на курсы, а после уроков обещал

выписать по пятьдесят рублей аванса. Успокоил, что в магазине нам выдадут по полкило хлеба, а после Нового года мы получим и карточки на продукты. Пообещал также подыскать помещение, чтобы мы не мерзли. И снова высокая худая немка из Ленинграда Катя Штрес, теть Катя, как ее тут все звали, отвела нас в один из домов, где было тепло, горело много керосиновых ламп со стеклами, вырезанными из литровых бутылок. Здесь стояли два ряда скамеек, видимо взятых из школы, за столом уже сидел преподаватель. На скамьях устроились местные ученики. Из них я знала Бенкуте (Бернарду Прапуоляните), Мари Финк — немку, кругленькую, добрую девушку, которую все звали Манялей, Повиласа Масёкаса, единственного парня, и свою подругу Ядзю. Ядзя еще раньше переселилась в Кресты, работала тут. Нам выдали письменные принадлежности. Начались уроки. Я очень хотела учиться, ловила каждое слово преподавателя и, сколько успевала, записывала, потому что русские буквы выучила еще в Литве. После занятий мы пошли в контору. Хабидуллин свое слово сдержал — мы получили пятьдесят рублей аванса и в магазине купили по полкило хлеба. Хлеб был белый, пышный, только без запаха — из лежалой американской муки. Я разбогатела: теперь у меня были хлеб и почти сто рублей. Вернувшись домой, хотела доесть остатки принесенного из Романсыра черного хлеба, но он пропал. Я подумала, что украли рабочие. На другой день остатки белого хлеба положила под подушку. Но после курсов не нашла и их. Когда ложилась спать, под подушкой что-то зашевелилось, и по неструганым доскам стены промелькнула огромная крыса... На другой день я перевязала веревочкой недоеденный хлеб и подвесила между нарами. Вернувшись, нашла хлеб в целости и сохранности.

Мне было странно, что Ядзя не предлагает приходить к ним на ночь. Жила она с семьей, и есть у них было что, так как брат Владас работал каюром — погонщиком собачьей упряжки и чего-чего, но уж ряпушки-то у

них было вдоволь, ведь собаки плохую рыбу не едят. Вспомнила я Коугастах, Галинце, постоянно носившую от нас муку, золотой крестик, который я трижды покупала у Ядзи и держала у себя, пока не поедем в Литву. Поговаривали, что она флиртует с главным бухгалтером, может, потому и не замечала моих бед.

Женщины узнали, что мои родители художники, и попросили изготовить какие-нибудь новогодние подарки для детей. Юргис Масюлис наделал самолетиков, а я из ваты и тряпочек шила и прикрепляла к картону ангелочков с крылышками из перьев. Поскольку дети не отмечали Рождества, мы решили праздновать Новый год как Рождество. Я согласилась быть рождественским Дедом Морозом. Соответственно обрядившись, я вошла в юрту к женщинам. Детишки окружили меня и стали расспрашивать, откуда я и как попала сюда. «Села на облачко, запрягла северное сияние и прилетела из Литвы с рождественскими подарками», — объясняла я. Один мальчик сразу спросил, не видела ли я в Литве тетю Марите. «Как же, видела, теперь она спит, потому что в Литве еще утро», — ответила я. Другой малыш с гордостью заявил, что в Литве пил молоко прямо из бутылки! Девочки стояли молча, только дочки Бурбене Килнуте и Сигуте, когда я спросила их фамилию, смущаясь сказали, что они Бульбите. Дети развеселились: да, они Бульбите, одну зовут Сагуте, другую Килпуте*. Так я встретила Новый, 1945-й, год. Когда я незаметно выскользнула из юрты, дети недоумевали, куда подевался Дед Мороз. Один малыш сказал:

— Небось на облачке в Литву умотал!

После Нового года нас переселили в дом. Вернее говоря, в четверть дома. Неподалеку от дверей стояла печка, за ней — кровать русской хозяйки дома с девочкой трех-четырёх лет, справа во всю длину комнаты были

* Игра слов: сагуте — по-литовски пуговка, килпуте — пелька. (Примеч. переводчика.)

сколочены нары, на которых свободно умещались семь курсанток. Уроков на дом не задавали, так что стол не был нужен. Учеба шла у меня хорошо, даже очень хорошо, потому что мне страшно хотелось перейти на менее тяжелую и постоянную работу. Мои усилия дали результат: из всего курса на пятерки учились только я и Повилас Масёкас. Сестра Повиласа Бартникайтене умерла в Коугастахе, он знал, что никто ему не поможет и он сам должен пробивать себе дорогу.

Время тянулось медленно, после курсов нечем было заняться, валяясь на нарах, я не могла удержаться и за один день съедала все, что получала, и потом несколько дней приходилось голодать. Однажды я слопала хлебную норму нескольких дней, за пару вечеров обошла всех живших там литовцев, но никто не угощал. Уже четвертый день ничего не держала во рту, кроме воды. Легла, укрылась с головой и... улетела в Литву. Вспомнила наш круглый, покрытый белой скатертью стол, уставленный всевозможными яствами. Хлеб нарезали тонко, но совсем по другой причине... Мама и маслом мазала его мне очень тонко, и ломтик колбасы бывал чуть ли не прозрачный — только бы я не растолстела! О, если бы она знала, что нас ждет!

Неожиданно открылась дверь, и каюр Довбиш втащил полный мешок рыбы.

— Это вам, девушки! От Мишки-бурята, кушайте на здоровье! — И убежал, захлопнув за собой дверь, так что мы даже поблагодарить не успели.

Анька Лукина бросилась к мешку:

— Это он мне прислал!

Воля возразила:

— Не тебе одной, всем!

— Он мой любовник, значит, и рыба моя!

Однако Воля решительно распорядилась поделить рыбу на всех. Анька испугалась дочери завпрома. Свою долю я быстро разделала, разрешила на куски, сложила в кастрюльку и, поставив варить, убежала на курсы. Я бы-

ла страшно голодна и с нетерпением ожидала конца уроков. Закурила. Все стали просить дать и им закурить. Я протянула папиросу Повиласу Масёкасу, для Аньки не осталось. Вернувшись, я взяла аппетитно пахнущую рыбу к себе на нары и стала ждать, пока она немного остынет. Прибежала Анька и давай орать: «Курить так Повиласу оставляешь, а рыбу мою жрать будешь!» — «Да возьми ты эту свою рыбу!» — сказала я. Анька распахнула дверь и выплеснула рыбу в сугроб. Я упала на нары, закрылась с головой и разревелась. Подошла Ядвига Борхертене и шепнула: «Юрате, не показывай слез этой мрази! Вот погрызи сухарь!» Я успокоилась.

Курсы закончились. Я и Повилас получили по всем предметам пятерки. Жить меня приняла к себе русская семья Скоробогатовых. Я снова возила дрова, потому что зимой мы как специалисты не были нужны. В один прекрасный день смотрю в оттаявшее окно и вижу маму — тащит тяжелые санки. Комендант отпустил ее, она сложила наши пожитки и пришла в Кресты. Близилась весна, за окном почти не темнело. Скоробогатовы уступили нам одну комнату. Счастливые, мы принялись мыть бревенчатые стены. Вдруг в комнату влетела Ядзина сестренка Галинце:

— Тетя Юрате, война кончилась! Муж тети Зои вернулся с работы и рассказал!

Мы стояли ошеломленные, потом обнялись... Плакали в голос и не могли остановиться, — может, и наша жизнь теперь по-другому сложится, ведь не будь войны, мы бы не попали сюда, на край света, и Римас был бы с нами... Пришел с работы Скоробогатов, открыл нашу дверь:

— Чего расхныкались? Радоваться надо. Война кончилась. Не выдержал все-таки фашист! Шапками мы его закидали! Ну, теперь надо ждать перемен.

Весь поселок уже знал, что война кончилась. Одни плакали, другие ликовали, по «говорилке» гремела музыка, звучали песни.

Время шло, а перемен — никаких. Жили как жили, работали как работали, только трафареты «Рыба фронту» валялись в грязи.

Вышла замуж дочь Скоробогатовых, понадобилась комната. Мы перебрались в юрту, где в одной комнате жила литовка Чепонене со своим новым русским мужем. Это было хорошее время. Я уже работала в конторе, чертила для бухгалтера карточки на вырванных из книг листах. Сидела в тепле. Зубы перестали болеть. Мама начала рисовать якутам ковры. Черную краску делала из сажи, собиравшейся в трубе катера, сурик и зеленую краску получала со склада, фиолетовую делала из химического карандаша, розовую — из ягод. Ну, а для «изготовления красок» якуты давали хлопковое масло. За ковры расплачивались талонами на муку, сахар, крупу и масло. Заказчики давали и американские мешки, на которых мама рисовала. Садилась мы, бывало, вдвоем, она рисует, я вяжу или вышиваю, и поем с ней на два голоса. Иногда так смеялись над какой-нибудь мелочью, что не могли остановиться. А муж Чепонене Игнат, все слышавший через дощатую перегородку, удивлялся:

— Первый раз в жизни вижу, чтобы люди так ладили друг с другом, только песни и смех, ни единого грубого слова, а радоваться-то вроде бы нечему...

Мы решили написать письма в Литву. Писали родным в деревни, потому что в городе не знали, где кого искать. Получили от них ответы, узнали, что умер дедушка, без вести пропала тетя Оните, что умер муж тети Веры (маминой сестры), одного из их сыновей расстреляли за отказ служить в армии, а другой вернулся с войны живым. Из папиной родни на наши письма не откликнулся никто. Мы не плакали по мертвым, потому что за такую долгую войну мысленно уже всех похоронили. Только радовались тому, что хоть кто-то остался в живых. Начали переписываться. Больше и чаще других писала дочь тети Кастуте Закарявичене, моя любимая кузина Камуте. Из писем узнавали все больше новостей

и ждали их с нетерпением. А сколько было радости, когда получили первую бандероль! Пахнувшие медом листья табака были завернуты в газету, и там же было несколько носовых платочков, вышитых Камуте. Мы нюхали табак, целовали платочки, потому что их касались руки дорогих нам людей. Бандероли приходили все чаще. Когда из Усть-Янска приезжал на собачьей упряжке якут, почтальон — симпатичная немецкая девушка Роза — бегала по конторе и, распахивая двери кабинетов, кричала: «Почта приехала, почта!» Мы все бежали в маленькую комнатку, откуда доносился голос Розы: «Ты не стой, тебе ничего нет» или «О-го! Целых пять или шесть писем!», «Тебе бандероль». Почту доставляли самолетами, поэтому скапливалось много писем. Мама получила не одну копию писем, которые администрация Театра оперы и балета направляла в Министерство внутренних дел. В письмах говорилось, что Бичюнене необходима театру как специалист, и содержалась просьба разрешить ей вернуться в Литву. Однако в министерстве всегда отвечали, что таких писем не поступало.

К нам часто заходили Юргис Масюлис и его отец. После того как Ульямперисы переехали в деревянный дом, мы заняли их юрту, в которой была комнатка и отгороженная кухонька с настоящей, сложенной из кирпичей печкой. Дверей между ними не было, да мы и не могли сделать их — не из чего. Мне казалось, что Юргис заходит покурить, потому что у мамы всегда бывал табак — получала от якутов как взятку, чтобы поскорее нарисовала ковер. Якуты появлялись в наших поселках лишь тогда, когда хотели что-либо продать или выменять.

Наступила весна. Собрали нас, всех приемщиц и мастеров засола, и распределили по рыбацким пунктам. Меня назначили в Илиншар приемщицей рыбы, Ядзю послали в Коугастах тоже приемщицей, а Манялю — туда же мастером.

Исполняющий обязанности директора Бреславский сказал, что в Коугастах придется идти пешком, пока лед еще твердый, а когда он уйдет, будет уже поздно готовить участки. Дорога была неблизкая — около 150 километров. Примерно на полпути, сказал он, мы увидим палатку, где у сторожа сможем выпить кипятку и отдохнуть. Решили идти втроем. Шли, как и все, по реке. Нам выдали продовольственные карточки, деньги, за плечами были перевязанные мешки — рюкзаки. Шагали довольно быстро. Были мы молодыми и здоровыми. Я все время болтала, что-то рассказывала, стоило мне замолчать, как подруги просили: «Ну, дальше!» Стоял полярный день. Снег утоптан, как асфальт. Ноги переставляли автоматически. Сначала мы чувствовали усталость, потом стал одолевать сон. Несколько раз, сняв рюкзаки, мы отламывали по кусочку замерзшего хлеба. Наконец добрались до палатки на берегу реки. Внутри топилась охотничья чугунная печурка, на ней стоял большой медный чайник, в котором, пуская клубы пара, кипела вода. Земля была устлана оленьими шкурами. Старик якут поддерживал огонь. Мы бухнулись на шкуры, согрели на печке хлеб, закусили, попили горячей воды и заснули. Через пару часов якут разбудил нас: «Эй, эй, пора уходить, другой пришел!»

И правда, пришли двое «февралей», которых мы не знали. Мы снова собрались в дорогу. После отдыха идти было еще труднее, страшно болели ноги. Шли теперь уже не по реке, потому что в тундре на снегу была четко видна колея от нарт, видимо, сторожу кто-то привез продукты. На снегу мы находили нацарапанные имена тех, кто тут прошел. Я тоже вывела пальцем: «Тут прошли три красавицы: Ю, Я, М». Когда вдалеке показались верхушки юрт Коугастаха, сил не осталось вовсе, и мы решили передохнуть. Мы легли на спину, раскинув руки и ноги, — сквозь телогрейки и ватные штаны холод так быстро не проникал. Покурили. Послышался собачий лай. Приближались нарты. Поравнявшись с нами, соба-

ки с лаем бросились в нашу сторону. Перепугавшись, мы вскочили, так как знали, что обычно спокойные, добрые собачки в упряжке становятся очень злыми и слушают только своего хозяина, сидящего в нартах и подающего команду. Оказалось, что это Бреславский. Он вылез из нарт и спросил:

— Так это вы и есть те три красавицы? И правда красавицы. Ну как, сильно устали?

— Да-а-а... — хором протянули мы.

— Хотите, анекдот расскажу?

И он рассказал какую-то чушь, над которой сам громко смеялся. Мы только усмехнулись. Мы ускорили шаг и скоро были в Коугастахе. Я остановилась у Гирчи-сов, они меня усиленно приглашали, никак не могли забыть того красного стрептоцида, считали меня спасительницей Пятраса. На отдых нам дали три дня. Первым делом мы отоспались. Когда пришли в контору, Бреславский сказал, что в Илиншаре я буду работать не приемщицей, а мастером. Я изо всех сил отказывалась, мотивируя это тем, что не привезла с собой нормативов. Но он не уступал: курсы кончила, дескать, на одни пятерки, из практики знаешь, как солить рыбу, а нормативы привезет технолог Аня Чувашова, когда придет время сдавать рыбу и списывать соль. В конце концов я согласилась. Привлекала зарплата — приемщица получала 600, а мастер 840 рублей, и еще, конечно, уважение — с мастером все считались, на участке он был хозяином. И снова пешком я отправилась в Илиншар, где уже ждали рабочие. Мы приготовили емкости для засола рыбы, но уложенный в них брезент оказался дырявым, и я предупредила Бреславского, что рассол вытечет, рыба из-за этого будет сухая и может не хватить веса. Он велел не обращать на это внимания. У сторожа я получила кучу соли, взвесить или измерить которую было нечем. Начался лов. Засол шел нормально. В нашей юрте расположился магазин, в котором мы покупали положенную норму продуктов. Продавцом был бывший белогвардеец

старик Татарников. Из мешков я сделала занавеску и отгородила себе комнатку. За занавеской стояла койка Татарникова, а за ней устроился прибывший из Казачьего уполномоченный (мы расшифровывали это слово так: упал намоченный) Беляев, в обязанности которого входило наблюдать за нашей работой. Это был красивый молодой человек, которого мы уважали за то, что он не мешал нам работать, — обувшись в высокие американские резиновые сапоги, он спокойнейшим образом бродил по тундре и стрелял гусей. Если была добыча, он просил поджарить, но предпочитал жареную рыбу. Как-то раз, когда рабочие ушли в цех и унесли все ножи, я попросила его одолжить мне ножик, чтобы почистить рыбу. Ножик он дал, но пригрозил, чтобы я его не сломала. Осторожно почистив рыбу, я хотела отрезать голову, слегка надавила, и ножик сломался. Когда я сказала об этом Беляеву, он схватился за голову:

— Лучше бы ты мне шею сломала, чем этот ножик! Он же трофейный, немецкий — на фронте у убитого немца взял.

«Мародер!» — подумала я.

Вечером, когда все ложились, я рассказывала что-нибудь о Литве, а Татарников — о революции:

— Били, ломали, дураки, все! Не понимали, что им же все и останется. Сам в Петрограде видел.

— Татарников, уймись, есть еще и айсберги, попадешь — никто не снимет, разве что сам верхом на белом медведе прискачешь, — предостерегал Беляев.

Из Якутска прибыл новый директор еврей Эльтерман. Первым делом пожелал на катере осмотреть все участки лова и засола. Приплыл с Аней Чувашовой в Илиншар. Подошел к чану, в котором солили рыбу, взглянул на плавающих на поверхности больших рыбин и говорит: «Какая жирная рыба! Даже над рассолом жир плавает!» Меня бросило в жар: я-то знала, что жир образуется на поверхности лишь тогда, когда рыба начинает

портиться. Я и не заметила! Технолог подозвала меня и говорит:

— Как хорошо, что этот еврей ни черта не понимает! Срочно спасайте рыбу!

При сдаче рыбы выяснилось, что не хватает пяти тонн, а соли, поскольку не было нормативов, я, по совету Ани, списала на четыре тонны больше.

В Коугастахе я встретила плачущую Манялю.

— Что стряслось?

— У меня недостача восемьдесят килограммов рыбы... Что теперь будет?

— Придется платить, — сказала я.

— А как у тебя?

— Мне не хватило пяти тонн!

Она рот разинула:

— И ты смеешься?!

— Пять тонн я не могла съесть, а ты восемьдесят килограммов — запросто, так что придется платить, — пошутила я.

Я знала: всем ясно, что в голой, безлюдной тундре столько рыбы ни продать, ни съесть невозможно. К тому же я предупреждала Бреславского. Закончив работу, мы все трое на катере вернулись домой.

На осенний лов меня послали в Харахой, совсем близко от Казачьего. Там на лов выходили только рабочие-любители из Казачьего, уловы были небольшими, так что всю нашу бригаду вернули домой. Скоро река замерзла, и мы перешли работать в контору — снова чертили карточки. В свободное время я заглядывала к Ясенасам. Это была прекрасная семья. Сам Ясенас — высокий, видный мужчина — временно работал начальником цеха планирования, его жена Виталия заведовала детским садом. У них было двое прелестных детишек. С Ясенасами мы часто говорили о Литве. Дети слушали рассказы взрослых, но никак не могли понять, где же находится эта родина Литва. Видимо, они считали, что она так же далеко, как Романсыр или Казачье, и то один, то

другой время от времени просили: «Я тут больше не хочу, пошли в Литву!» Не имели они представления и о том, что такое конфеты или мед, знали только кусковой сахар, и, когда в первых посылках кто-то получил конфеты, дети их не ели, выплевывали, дескать, они воняют.

Ночи были длинными, темными. Северное сияние, по мере того как мы поднимались вверх по реке, словно блекло. Растительность становилась богаче, небо — бледнее. Молодежи некуда было деваться. Летом, когда приплывал пароход, все бросали работу и бежали к берегу посмотреть на людей. Взглянув на свободных людей, мы понуро возвращались назад. Зимой Юргис Масюлис, перебросив через плечо свой «хонер», ходил к русским на попойки. Там он ел, выпивал и еще домой что-нибудь приносил. Доставались гостинцы и детям Ясенасов и Пакаускасов, которых он очень любил. Юргис редко бывал совсем трезвым, обычное его состояние было, что называется, навеселе. С тоски, сложив свои нормы сахара, варили бражку и мы. Это такая бурда из дрожжей, сахара и муки. Чтобы напиток был крепче, добавляли туда хмель или зверобой, которые мы доставали у русских. Варили и пили. Каждое воскресенье. Одни больше, другие меньше, но в общем-то пила вся молодежь. Выпив, отправлялись в школьный зал, где вокруг печки, сделанной из железной бочки, уже стояли девушки. Я чаще всего танцевала «Умирающего лебедя» или «Венгерский танец» Брамса — танцевала по всему залу, только кудри развевались... Чего-чего, а уж на завивку волос всегда время находилось. Мамина подруга Рожите Слапшене подарила мне щипцы для завивки. Утром мама меня будила всегда пораньше, иногда даже часы нарочно переводила вперед, только чтобы я все успела.

— Юрате, уже без пяти девять! — нежно прикасалась ко мне мама.

Я вскакиваю, бегу одеваться, а она спокойно переводит назад часы и показывает на разогревающиеся на

печке щипцы. Не могла я, «элегантная барышня», идти с неуложенными волосами. Это желание быть элегантной у меня, видимо, врожденное. Надо сказать, что к тому времени вид мой был уже вполне приличный. Шубейку, на которой был совершенно вытерт живот, мама подкоротила и аккуратно залатала. Мы купили синюю телогрейку, из остатков меха мама приделала к ней капюшон, оторочила мехом полу — вот и вторая одежда. У фронтовика мама купила шинель, перекрасила ее в черный цвет и сшила пальто без подкладки. Она взяладохлую черную кошку, содрала шкуру, обработала ее солью и квашеными овсяными хлопьями... «Котик» получился неплохой — из него сделала воротник на то пальто. А когда сдохла соседская черная собака, мама обработала ее шкуру и сшила новый воротник и еще муфту. Из своего синего шерстяного купальника я сделала шапочку с ушками, шарфик и перчатки. Блаузджюнас сшил мне из старых белых валенок, добавив кожу, красивые бурки. Из американских мешков я сшила две кофточка и украсила их вышивкой: на одной два танцующих олененка, а между ними монограмма Ю.Б., на другой — силуэт якута с ребенком, едущих на нартах. Нитки для вышивки выдергивала из тряпочек. Эти вышивки, вставленные в рамки, и теперь украшают мою комнату.

Впрягшись в санки, из Коугастаха пришел Вайдас, пришел оборванный, голодный и с пустыми руками, без документов, даже нашего так называемого «волчьего билета» у него не было. Убежал из колхоза и от уполномоченного Бирюкова, который в то время был в Коугастахе. Вызвав Вайдаса в контору, Бирюков заявил, что он, мол, как культурный и грамотный молодой человек безусловно понимает, что среди литовцев есть и несознательные, есть и вредители, которые хотят нанести ущерб советской власти, поэтому он должен помочь выявлению этих ненадежных элементов. Брат уже однажды побывал в тюрьме и не хотел туда возвращаться, но выдавать своих, быть таким подлецом — да ни за что! Он помолчал,

потом схватился за живот и сказал, что ему срочно надо выйти. Так и удрал, оставив свой документ. Закарявичене — мама Генуте — пыталась выпросить его у Бирюкова, но не удалось. А тут еще Банис отбил у него Генуте... Все сложилось одно к одному, вот Вайдас и пришел к нам. Я уже получила талоны на мануфактуру, мечтала сшить себе костюмчик, но пришлось отдать материал обносившемуся брату. Жильвитене быстро сшила ему галифе и две рубашки. Осталось как-то добыть удостоверение. Но тут все скоро уладилось: коменданту-якуту понадобился ковер, мама быстро нарисовала его, а когда тот спросил, сколько платить, мама сказала, что сын потерял удостоверение и не знает, как быть. Комендант только усмехнулся: «Это не беда, получите». Через месяц он приехал в Кресты и привез Вайдасу новое удостоверение. Мама еще спросила, ругался ли Бирюков. «А я ему ничего не сказал, сунул с другими бумагами, он и подписал», — ответил комендант. Снова можно было спокойно жить. Мама ушла в Казачье руководить драмкружком. В юрте остались мы вдвоем с Вайдасом. У нас собиралась молодежь, пили, гуляли, играли в разные игры. К нам прилип и пожилой, как нам тогда казалось, агроном Грумбинас, жена которого, соседка моих бабушки и бабушки учительница Пашилите, рожала в больнице, когда нас и его вывезли.

Приближался 1946 год. Для его встречи я написала водевиль, однако парторг Наумкин запретил ставить, поскольку не было разрешения цензуры. Он прочитал мой коротенький, веселый водевиль и сказал:

— Хорошо, очень хорошо! И смешно! Но без цензуры нельзя.

На Новый год мы решили устроить маскарад. Особо объявлять не было надобности — почти вся грамотная молодежь работала в конторе. Зимой работы было немного, и все — кто во что горазд — мастерили маски и костюмы. Я решила быть всадником. Сшила русскую рубашу, широкие штаны и кушак, потом вместе с Ядзей мы

стали шить лошадь из двух частей: одну надо было прикрепить к штанам спереди, другую сзади. Нашу юрту частенько навешали горностаи. Сидишь, бывало, в отгороженной комнатке и слышишь в кухне какое-то пощелкивание. Тихонько выглядываешь, а на столе на задних лапках стоит горностаи. Под печкой было оставлено отверстие в один кирпич (наверное, для вентиляции), в котором им нравилось сидеть. Так вот к этому отверстию я приложила мешок, а Вайдас палкой выгонял их — и мы поймали двух горностаев. К сожалению, нам не удалось хорошо выделывать шкурки, и мы их испортили. Мне выдали талоны на три метра фланели, все девчата что-нибудь шили, а я распустила эту пуховую голубую материю, добавила белую нитку и крючком связала блузочку — все не как у других!

Однажды мы узнали, что в магазине идет переоценка продуктов. Наутро выяснилось, что буханка хлеба стоит теперь пятьдесят рублей. Все подорожало в три раза. Меньше всего подорожал спирт. Из-за этого роста цен никто особенно не волновался: все было по карточкам и больше, чем положено, не купишь, а зарплаты хватало и на эти дорогие продукты. Мы с мамой понемногу еще и откладывали.

В конторе, кончив чертить карточки, мы писали письма в Литву. Большинство литовцев просили, чтобы в уголке листа я нарисовала маленького якутика. Я делала это с удовольствием, а потом письмо с «фирменным» знаком отправлялось в Литву. Часто приходил Юргис, и мы подолгу болтали, потому что после окончания навигации старшины с катеров работали в ремонтных мастерских — ремонтировали катера. Мне выпала честь отпечатать на катере трафарет своей работы «ЯНА». У меня сохранилась фотография, где я стою на фоне этого катера.

В плановом отделе нормировщиком работал Владас Масюлис — отец Юргиса. Это был образованный, спокойный, добрый и очень красивый человек, работавший раньше консулом в Тильзите; его жена белоруска

Елена Чудаускайте, родившаяся в Варшаве, тоже была образованной женщиной. У Масюлисов был большой пушистый сибирский кот по имени Улахан (по-якутски «улахан тойон» значит «большой начальник»). Улахан любил сидеть у Масюлене на плече и мурлыкать. Однако был он уже старый, и от него плохо пахло. Масюлисы жили теперь в бревенчатом доме. Юргис говорил с родителями как бы шутя, для меня это было непривычно и даже неприятно — казалось, что он не уважает их. Масюлене часто болела и не могла как следует смотреть за домом, поэтому у них не переводились вши. Когда у нас собирались девочки, моя мама говорила: «Обойдите вокруг Юргиса, он настоящий киноартист!» Однако этот «артист» был не в моем вкусе. В то время он дружил с Бируте Кимярите, даже сватался к ней, но, когда она поставила ему свои условия — не пить водку и не заглядываться на других, Юргис плюнул и перестал к ней ходить.

Перед самым Новым годом пришел председатель месткома пузатый Гильде и стал просить, чтобы я организовала новогодний вечер. Я сказала, что написала водевиль, а парторг не разрешает его ставить. Он только руками замахал: «Разрешает, разрешает! Сказал, пускай ставят, что хотят, — только чтобы весело было!» Я решила играть свой водевиль с братом, а он хотел, чтобы суфлером была Бируте Кимярите. Бируте согласилась. Профсоюз рыбзавода пообещал победителям маскарада три премии — 100, 75 и 50 рублей. В жюри входили Наумкин и мастер засола рыбы Тамара Матюнина. Когда все собрались и пора было начинать представление, моего партнера Вайдаса еще не было. Кто-то сказал, что он у Бируте пьет бражку. Я послала за ним мальчика. Сама я уже была загримирована и соответствующим образом одета. Скоро он пришел, и спектакль начался. После окончания зал громко аплодировал, водевиль всем понравился.

На сцену поднялся дядя Маняли с гармошкой. Я попросила его сыграть только один танец, а потом марш. Сама же побежала на школьный склад и быстро надела костюм всадника. Когда послышался марш, я широко распахнула двери и, скрывая лицо под маской, въехала на своем коне в зал. Публика стала хлопать, свистеть, хвалить, кто-то пытался вскочить на моего коня, самых настырных я хлестала кнутом по ногам... Когда жюри просмотрело все костюмы, Наумкин встал и сказал:

— Первый приз — сто рублей — присуждается всаднику. Всадник, снимай маску!

Когда я сняла маску, все ахнули — я и впрямь была больше похожа на Тараса Бульбу, чем на молодую девчонку. Так или иначе, но я заработала денег на две буханки хлеба! Наступила полночь. Мы встретили Новый год в клубе. Это был веселый Новый год, спокойный, без войны, с надеждами на будущее.

Мама вернулась из Казачьего и больше туда не пошла. Из-за недостатка витамина С мы никак не могли одолеть цингу. Она мучила уже не так страшно, как в Коугастахе, но люди все еще ходили какие-то заспанные. Раз я пришла домой, смотрю — за столиком с одной стороны сидит мама и, опершись на руку, дремлет, а с другой — Владас Масюлис, засыпая, что-то мямлит.

— Приятно проводите время? — спросила я, и они, проснувшись, весело рассмеялись.

Пришло письмо от сестры Альгиса Клямки. Она писала, что брат умер в 1943 году, прислала и фотографию. Я долго плакала по другу юных лет.

Вайдас завел двух собак: одну черную, уже взрослую, по имени Огонек, другую — еще маленькую, которую мы называли Фаустом. Мы думали, когда щенок подрастет, запрячь их в санки и привезти дрова на зиму. У нас была собственная небольшая сеть, и иногда мы ловили ею рыбу и себе, и собакам. Наша юрта была последней в поселке, поэтому мы не особенно боялись рыбинспекции — контролеру лень было идти дальше, и

он ограничивался проверкой рыбаков-профессионалов. В Кресты приехал новый начальник торговой точки с женой Тоней. Тоня была красивой и похожей на литовку: глаза большие, синие, волосы русые, заплетенные в толстые косы, нежные черты лица. Но стоило ей раскрыть рот, как из него выскакивали, словно лягушки, такие словечки, что их даже на бумаге написать стыдно. Работала она в бухгалтерии, ее должность называлась «бухгалтер материального отдела», однако все звали ее «бухгалтер матотдела». Я вознамерилась перевоспитать Тоню. Шла с ней домой и по дороге пересказывала хорошие лирические фильмы, прочитанные книги. Она внимательно слушала. Я говорила, что такой красивой и нежной женщине не к лицу ругаться. Она оправдывалась тем, что в тюрьме подруги испортили ее. Она приглашала меня к себе чуть ли не каждый вечер, готовила что-нибудь вкусное.

За мной стал ухаживать поляк из Ленинграда Славка Горбачевский. Мне он нравился. Юргис рассказывал, что раньше он был начальником отдела снабжения рыбзавода. Однако один раз, когда надо было достать какие-то дефицитные детали, он повез в Верхоянск рыбу и попался. Он объяснял, что эту рыбу дал ему директор, но директор выкрутился, а Славку посадили на два года за кражу рыбы. Вернулся он плохо одетым, и девушки, от которых у него раньше отбоя не было, теперь не желали с ним дружить. Мне Славка нравился тем, что был любезным, вежливым, целовал руку. Этими своими манерами он и покорил меня. Когда он посватался, я едва не вышла за него. Но мама с Веруте подняли страшный шум, сказали, что если я буду продолжать встречаться с ним, то они публично снимут с меня штаны и попросят Вайдаса задать мне трепку... Я испугалась этих угроз и порвала с ним. Как-то раз сидела я у Юргиса на кровати в темноте, потому что его отцу в кухне для чего-то понадобилась лампа, и пришел пьяный Славка. Юргис толкнул меня к стене и накрыл одеялом, а сам начал рас-

спрашивать Славку о девушках. Славка рассказывал по-мужски грубо, и не предполагая, что я все слышу... Отец на кухне хихикал, пока ему не стало жаль Славку, тогда он принес лампу. Я села. Увидев меня, Славка упал на колени и просил прощения, на все лады кляня Юргиса. Я поняла, что не зря мама предостерегала меня.

Заболела Масюлене, и ее увезли в Казачье, где была больница. На прощанье она сказала:

— Моя единственная мечта — умереть в чистой постели, чтобы вши не мешали...

Ее мечта сбылась. Домой она уже не вернулась...

Хотя работала я в тепле, но иногда начиналась такая зубная боль, что я места себе не находила. Однажды, когда страшно разболелись зубы, я вспомнила, как Маняля хвасталась, что у нее никогда не болят зубы, а если вдруг все-таки заболят, то ее бабуля тут же их и заговорит. Не верила я в это колдовство, но терпеть больше не было сил, и я пошла к Маняле. Бабуля усадила меня, положила палец на больной зуб, что-то пошептала и три раза дунула мне в рот. Из ее рта шла такая вонь, что мне даже плохо стало. Все это она проделала трижды, велела идти домой и, тепло укутавшись, поспать. «Легко тебе говорить — поспать! — подумала я. — Уже две ночи заснуть не могу!» Однако уже по дороге домой боль утихла. Я заглянула к Масюлисам, сказала, откуда иду, и Юргис с отцом стали смеяться, что я, мол, образованная девица, а верю в заговоры. Пришла домой, тепло повязала голову и... заснула. На утро боли как не бывало!

Приближались именины Юргиса. Из кусочка старой черной шерсти я сшила кисет для табака, вышила его, посередине нарисовала волны с летящей чайкой и подарила Юргису.

Наш директор Эльтерман был добрым, спокойным евреем, уважавшим литовцев. Однако люди так пили, особенно те, кто работал на катере, что он уже не мог найти на них управу. Однажды Эльтерман вызвал к себе заместителя Юргиса Черепанова и сказал ему:

— Товарищ Черепанов, я слышал, вы чем-то сильно огорчены.

— Да нет, директор, все в порядке.

— Значит, я ошибся — у вас, напротив, большая радость?

— Да и радости особой нет...

— Так какого черта вы так пьете?! Деньги, видимо, некуда девать! Позовите ко мне главбуха!

Черепанов привел главбуха.

— Черепанову не платите ни копейки премии, — сказал директор. — Сейчас напишу приказ.

И свою угрозу выполнил. Так Эльтерман заставил рабочих подумать, прежде чем опрокидывать стаканчик.

Как-то пришел Юргис Гасюнас и сказал, что собирается жениться на Маняле. Спросил моего совета. Я одобрила, и образовалась семья.

Пришло время снова отправляться к морю — в Коугастах. Меня направили на участок, где утонул Римантас. Страшно не хотелось туда, но к моим желаниям никто не прислушался. На этот раз мы, три красавицы, решили уже не пешком идти, а поехать. Ядзя попросила своего брата Владаса одолжить на время упряжную рыбхозовскую собаку Шарика, Маняля взяла своего Пушка, а я — Огонька и маленького Фауста, хотя он еще никаких команд не понимал. Мы запрягли собак, уложили в нарты свои пожитки и взяли курс на Коугастах. Передвигаться таким образом было и легче, и веселее. Путь снова лежал по реке. Солнце припекало все сильнее, и местами уже журчали ручьи. В одном месте мы вышли на берег, где снег уже стаял, и собакам пришлось волочить нарты по гравию. Вскоре на нашем пути возник ручеек, в котором текла чистая голубая вода. Дали собакам команду «вперед», однако один только Шарик знал, что это ручеек, остальные боялись воды и нашей команды не слушались. Ядзя подтолкнула Шарика, тот сильно дернул, за ним последовали другие собаки, и, перейдя ручей, они рванули в гору. Мы тоже перебрались на дру-

гой берег, однако собак уже не было видно, только на сверкающем под лучами солнца снегу четко проступал след от наших нарт. Он шел через реку, потом поднимался на крутой берег. Мы медленно продвигались по этой колее. Подошли к якутскому кладбищу. Это такой насыпной холм, на котором углом, как крыши, уложены бревна: чем выше крыша, тем больший начальник там лежит. На шестах висели пустые люльки умерших детей — их косточки уже давно растащили птицы и звери. Колеса от наших нарт проходила между двух больших могил, спускалась под гору и исчезала на горизонте. Мы присели отдохнуть на могильные бревна. Маняля заплакала: «Там мои новые сапоги и продуктовые карточки...» Ядзя сказала: «Собак нам все равно не догнать. Я отсюда никуда не пойду...» Она осталась сидеть на холме, а мы с Манялей пошли дальше, не переставая звать: «Пушок, Пушок! Огонек! Фауст! Шарик!» Вдруг я заметила какую-то движущуюся черную точку. Это, услышав наши крики, прыгал Фауст. Мы боялись, что, если подойдем ближе, собаки снова побегут, прервав свой отдых. Мы осторожно приближались к ним, бормоча ласковые слова, чтобы только они не оставили нас без наших вещей. К счастью, собаки никуда не собирались бежать. Только Шарик, увидев куропатку, рванул в сторону, оборвал веревку, которая связывала его со всей упряжкой, и бросился за своей добычей. Вскочили вслед за ним и другие, но опрокинули нарты. А делают нарты так, что по бокам остаются столбики, которые сантиметров на десять возвышаются над поклажей, и если нарты опрокидываются, то эти столбики становятся своеобразными тормозами. Неожиданно встав на эти тормоза, собаки улеглись и отдыхали. Мы перевернули нарты и направили их назад по уже утопанному нами следу. Шарик продолжал носиться, сколько мы его ни звали. Он был хитер, и не так-то легко было его поймать. Хитрее стали и мы — взяли веревку, один ее конец привязали к нартам, а другим подпоясывалась одна из нас. Наконец Шарик остановился и

смотрел на нас, словно раздумывая — позволить запрячь себя снова или нет? Его упряжь треугольником волочилась по земле, и Шарик случайно ступил задней лапой в веревочную петлю. Дезертир был пойман. Мы подъехали к холму, где на бревне сидела Ядзя. Продолжили путь все вместе. По очереди одна из нас подпоясывалась веревкой, и это было даже лучше, потому что, таща нарты, собаки тащили еще и одного мастера засола рыбы. Прибыв наконец в Коугастах, мы представились Бочкареву и пошли отдыхать. Я — к Гирчисам. Как обычно, нам полгались три дня отдыха.

Отдохнув, мы отправились на свои участки. У меня страшно болел зуб, так болел, что свет был не мил. Поэтому замечания я делала с хмурым лицом. Рабочие ворчали: «Прислали какую-то ведьму, доброго слова от нее не услышишь!» Терпеть больше не было сил. Я перешла по ледяной воде протоку, держа одежду над головой, и явилась к врачу, вернее говоря, к фельдшеру, который исполнял функции врачей всех специальностей, не имея ни лекарств, ни инструментов. Попросила его вырвать зуб, а то я просто схожу с ума.

— Но у меня ничего нет — ни чем обезболить, ни чем рвать! — сказал он.

— Да хоть ломом, я потерплю! — умоляла я.

Фельдшер взял плоскогубцы, положил их в кастрюлю, покипятил с полчаса, охладил, протер спиртом, налил спирт и на зуб... Сунул плоскогубцы в рот, ухватив зуб, стал его раскачивать и наконец выдернул. Я почувствовала, что мои трусики стали влажными. Но зубной боли не было. Вздохнула с облегчением. Фельдшер посоветовал дома тепло закутаться и полежать. Я снова перешла вброд протоку, теперь уже чувствовала обжигающий холод воды. Вернувшись, влезла в палатку и, закутавшись в одеяло, заснула. Проснулась — даже в глазах светло. Вышла из палатки — и только теперь на другом берегу реки увидела установленный Вайдеутисом крест. Вот мы почти что и встретились с Римасом. Сно-

ва открылась рана утраты. Но рыбы было много, на раздумья времени не оставалось, перепутались дни и ночи. Измученная, я валилась в постель, казалось, едва задремала, а рыбаки уже кричат: «Принимай рыбу!» Поскольку участок был небольшой, я работала и приемщицей, и мастером засола. Рабочие были симпатичными, веселыми людьми — коугастахские финны, немцы и русские с пристани. Они уже не называли меня ведьмой.

Рыба кончилась, и мы вернулись в Кресты. Пока я оформляла документы, подоспел и осенний лов. Меня послали в Ариян — километра за четыре от Казачьего. На полуострове, где не было ни кустика, ни деревца, ни травинки — повсюду лишь сплошной ил, мы стали готовиться к приемке и засолу рыбы. Рабочие построили помещение для засола, установили указатель, прикатили бочки с солью, а из пустых бочек и досок соорудили что-то похожее на понтонный мост, чтобы рыбакам удобнее было подплывать с уловом.

— Ну, Юрате, у тебя не участок, а конфетка, — похвалил приехавший с проверкой Бреславский.

Я попросила, чтобы он оставил нам лодку.

— Зачем? По ягоды на тот берег плавать? Не оставлю!

Теперь нас было четверо: я, приемщица и мастер в одном лице, и три работницы, разделяющие рыбу, — литовская полька Ванда Василяускене и две завербованных молоденьких русских девушки из детдома. Жили мы в палатке, в которой были встроены нары, а во второй палатке размещался «цех» засола рыбы.

Ванда с виду походила на артистку Раневскую. В Каунасе у нее был табачный киоск около Театра оперы и балета, который представлял собой большой платяной шкаф, где стояли маленький стульчик и миниатюрный столик, а на полочках были разложены пачки папирос и сигарет. Когда она увидела мою маму, то очень обрадовалась и, сложив руки как для молитвы, воскликнула:

— Госпожа Бичюнене, и вас, беднягу, вывезли! Меня за торговлю куревом, а вас-то за что?

Мама спокойно сказала, что не знакома с ней.

— Как это не знакома?! Я же возле театра куревом торговала, вы покупали у меня «Арому» и «Регату»!

Ей, может, и было важно, кто у нее покупает папиросы, но маму-то совсем не интересовало, кто их продает... Ванда была доброй, но неумной женщиной, она не уставала рассказывать, как хорошо жила в Литве, как варила кашу на одном масле, без воды, как ела только ананасы и бананы, пила только пунши... Меня так и подмывало прибавить, что и воздух она не портила...

Русские девушки тоже были симпатичными, только страшно ругались и пели такие непристойные частушки, что и слушать-то было стыдно. У меня была гитара, девушки умели играть. Я сразу сочинила песенку о нашей жизни в палатке.

Рыбаки приплывали из Казачьего, главным образом якуты. Они учили нас якутским песням. Мы научились считать по-якутски до десяти, но больше всего прижился возглас удивления «оксие», который мы теперь употребляли вместо литовского «ого». Приезжал и сам Бирюков.

Лов кончился, девушки уехали, остались мы с Вандой, сложенная в бочки рыба, соль и инвентарь. Делать было совсем нечего, вода спала, песчаные отмели увеличились, и лишь в полукилометре от нас, словно озеро, плескалось немножко воды. Да и та скоро замерзла. Остров был будто совсем безлюдный, мимо никто не проходил и не проезжал. Мы ожидали катера с баржей, который должен был увезти в Кресты нас со всем нашим грузом. Все поглядывали в сторону Казачьего.

Проснувшись однажды утром, мы увидели, что за ночь вода страшно поднялась и озера с окружающей его землей больше нет. А вода все прибывала. Наш полуостров уже превратился в остров, и выйти на берег мы не можем. Увидели плывущих на лодке якутов, я кричала,

чтобы они сообщили начальству, что нас заливают. Однако ни один из них не поднял головы, видимо, решили, что мы «нюча», то есть русские, а русским они не были склонны помогать. Мы поняли, что в верховьях Яны начались осенние ливни, и кто знает, как долго это будет продолжаться, а по воде между тем уже поплыли деревья, пни, ветви. Как нужна была нам теперь лодка! Палатку стало заливать. Мы выбрались наружу, на емкости для засола положили доски, а на них вкатили бочки с рыбой и солью. Поток снесло наш указатель, из-под мостика унесло бочки, сам мостик едва держался на одной веревке. А вода все прибывала. Вернувшись в палатку, мы подняли скамейки на нары, принесли из другой палатки печку и поставили ее на нашу. Рубили скамейки и топили. Вода уже заливала нары. Огонь еще горел, но первая печка была уже под водой. Но тут накатилась большая волна и погасила последний огонек. В палатке стало совсем темно и холодно. Уже намокали наши ватные штаны. От соприкосновения с телом вода чуть согревалась, и мы сидели неподвижно, чтобы меньше попадало новой, холодной воды. Стало темнеть. Вдруг мы услышали стук катера и голоса людей.

— Есть тут кто-нибудь живой? — узнали мы голос Черепанова.

— Есть! Есть! — заорали мы изо всех сил.

Катер подплыл как можно ближе. Выбросили трап, на палубе баржи появилась мамина подруга Рожите Слапшене. Почти окоченевших, Черепанов провел нас на баржу. В кубрике было жарко. Нас положили и стали поить кипятком со спиртом. Постепенно прекратился озноб, и мы заснули. Спали крепко и долго.

Подплыть в Крестах к самому берегу нашему катеру не удалось, потому что у берега вода уже замерзла. Пришлось ждать утра. Я попросила Рожите не рассказывать маме о моем приключении. Утром нас разбудили технолог Аня Чувашова и пришедшая вместе с ней работница отдела кадров Зина Коренева. Когда надо было

спускаться с нар, у меня страшно заболела нога. Оказалось, что сильно распухло левое колено и идти я не могла. Медицинские работники на носилках принесли меня домой. Пролежала я целый месяц. Поправившись, снова чертила в конторе карточки и помогала счетоводам.

Вместе с технологом Чувашовой я пошла к Эльтерману и рассказала, почему на моем участке такая большая недостача соли. Он велел Чувашовой написать объяснение. Однако Аня сделать это не успела — простудилась, когда ехала на собачьей упряжке, заболела воспалением легких и в Романсыре на руках у Веруте умерла. Мы украсили, как могли, нашего технолога. Мама сделала из лебединых перьев цветы, мы сшили из простыни платье. Жалко, очень жалко было Аню. Так и похоронили ее в Крестах. Ну, а моя недостача соли все еще не была списана.

Приближалась годовщина Октябрьской революции. Наумкин вызвал меня с мамой и попросил нарисовать портрет Сталина. Большой, в человеческий рост, но только до пояса. Мама пыталась объяснить, что портретов мы не рисуем. Однако Наумкин теперь уже требовал. Что поделаешь — взяли газету с портретом Сталина и принялись копировать. Получилось хорошо. Мы положили портрет в плановом отделе, пока не приедет уполномоченный Бирюков, чтобы принять нашу работу. Когда он приехал, мы вытащили из-за шкафа портрет, но — о, ужас! — он был порван в том месте, где были ордена и медали, на груди была огромная дыра... Видимо, уборщица по неаккуратности порвала.

— Посажу, засужу! — кричал взбешенный Бирюков. — Это издевательство!

Однако Наумкин, вызвав его в коридор, стал что-то объяснять, а мы расплакались. Вернувшись, Наумкин сказал, что за ночь мы должны нарисовать другой, если не хотим попасть в лагерь. Работали всю ночь, рука уже была набита, поэтому к утру портрет был готов. Старый мы сами разрезали на куски и сожгли.

Получили письмо из Литвы — от дяди Антанаса. Он писал, что вернулся врач из Утяны, который был в лагере вместе с моим папой Витаутасом Бичюнасом, и сообщил, что папа умер в 1945 году. Он рассказал, что папа выжигал на дощечке фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, а также последнее место работы каждого умершего в лагере литовца. Эту дощечку клали умершему под голову, чтобы близкие могли хоть косточки его найти, когда изменятся времена и можно будет привезти в Литву останки. К сожалению, когда умер он сам, некому было выжечь надпись на дощечке. Получив эту весточку, мы и не плакали, потому что мысленно уже давно похоронили его...

Каким человеком был мой отец, с кем он дружил и к чему стремился? Как написал в своих воспоминаниях режиссер Антанас Суткус, он был человеком особого склада. Чрезвычайно честным и совестливым, набожным, талантливым, трудолюбивым. Я помню его по большей части за работой — рисующим картины на природе. Кроме того, он писал, вернее говоря, печатал одним пальцем на пишущей машинке — почерк у него был неразборчивым, и машинистки не брались печатать ему. Работал он еще на радио — вел отдел писем. Сквозь щель во входной двери корреспонденция падала к нам прямо на пол. Письма шли со всей Литвы по самым разным вопросам, были и такие, что он, помнится, читал и хохотал... Он писал литовские тексты песен эстраднему артисту Дольскису. Приходили книги с записками: «Прошу упомянуть и отрецензировать». Он был человеком добрым и вместе с тем строгим — слова его и мамы были для нас священны. Очень любил он свою маму, говорил: «Мама — это праздник». Самым главным праздником у нас в семье был День матери. Каждый год, возвращаясь вечером в Сочельник из костела, он приводил с собой какого-нибудь нищего — старика или ребенка, которого мама мыла, переодевала, кормила, а часто и на ночь оставляла. Так и нам прививалась такая черта, как

сочувствие к страждущим. Папа любил порядок и был главой семьи в полном смысле этого слова: мы никогда первыми не садились за стол, никогда никто не позволял себе первым класть на тарелку еду или выбирать кусок получше — так нас приучали уважать старших, чтить отца и мать.

Папа и как учитель отличался от других. Преподавал нам рисование Робертас Антинис — класс гудел, преподавал Витаутас Кайрюкштис — в ярости стучал ладонью по столу, а класс все равно гудел. Когда же в класс входил папа, устанавливалась тишина: даст задание, а сам сидит за столом, что-то рассказывает, и все слушают, затаив дыхание... Он перевел с русского языка сказку Корнея Чуковского «Мойдодыр», а о плохих переводчиках того времени отец писал: «Пятрас перевел стрелки на часах, а я перевел стихи». Он писал пьесы для театра «Вилколакис», сотрудничал с режиссером Суткусом. Когда в 1956 году мы вернулись домой и зашли к Антанасу Суткусу, он сказал: «Прости, Наталья, и пусть простит светлой памяти Витаутас, так уж случилось, что Витаутас сложил голову вдали от родины, а его лавры достались мне... Ничего уже не изменить. Но мы все знаем, что Витаутас больше всех сделал для «Вилколакиса». Папа не только писал пьесы, но и сам играл, рисовал декорации. Он обладал редким чувством юмора (в какой-то мере унаследовала его и я), а ведь «Вилколакис» был театром сатиры и юмора, высмеивавшим недостатки тогдашней жизни и разнообразные пороки господ. Суткус обычно оставался в стороне, а отец из-за этого театра конфликтовал даже с президентом Антанасом Сметоной. Во время революции он сам чуть не умер от голода и потому сочувствовал бедным. И еще он был очень доверчив, из-за чего не раз влезал в долги. На собственные средства создал театр «Жвайгджикис», который не смог преодолеть финансовые трудности. От фракции христианских демократов отец был избран членом первого — учредительного — сейма. Тот, у кого

поднялась рука включить в список депортируемых моего отца, не понимал, что, обрекая на смерть полного творческих сил, талантливое человека, он совершал преступление против всей Литвы.

Время шло, по вечерам я все еще ходила воспитывать Тоню. Что-то в ее душе, видимо, стало пробуждаться. Слушая мои рассказы, она иногда начинала так плакать, что не могла остановиться. Тогда она брала бутылку водки и ставила ее на стол, говоря:

— Выпьем, б..., некоторые люди живут, как в сказке, а ты, б..., погибаешь тут. Единственная радость — напиться.

Я составляла ей компанию. А когда Юргис видел нас подвыпивших, то сразу спрашивал, не осталось ли чего-нибудь. И мы возвращались втроем, чтобы допить. Юргис начал водить меня на всякие попойки. Вернувшись, я ложилась рядом с мамой — знала, что своим сломанным носом она не чувствует запаха, но Вайдевитис не раз ругал меня. Если мама говорила что-то плохое о Юргисе, я сердилась; начались споры с мамой. Я поняла, что Юргис мне не безразличен.

Приближался 1947 год. Наумкин снова попросил подготовить какой-нибудь концерт. Для новогоднего карнавала мы с Вайдасом инсценировали несколько стихотворений Маршака в музыкальном сопровождении. Играть было кому. Один еврей отлично играл на скрипке. Бенкуте Прапуоляните хорошо играла на пианино, а Юргис, как я уже говорила, был аккордеонистом. Мы снова объявили новогодний маскарад. На этот раз я готовила костюм уже в расчете на премию — хоть и небольшая, но все равно прибавка к зарплате. Я изображала ведьму с избушкой на курьих ножках. Замысел удался — я снова получила первую премию.

Дело шло к весне. Мне сообщили, что поеду с экспедицией проверять, есть ли рыба в Силахе. Предполагалось, что там я буду работать и приемщицей рыбы, и мастером, и еще продавщицей. Когда лед сошел, мы

погрузили на небольшую плоскодонную баржу снасти, продукты на месяц и отправились в путь. Сначала все шло хорошо, однако чем дальше мы плыли, тем мельче становилась река, местами даже приходилось толкать баржу. Остановившись у берега, мы палкой измеряли глубину и ясно видели, что вода уходит. Жгли костер, потому что между высокими берегами не было ветра и комары совсем не давали житья. Наконец мужчины решили, что надо возвращаться, пока не поздно, а то вода уйдет, и мы застрянем здесь надолго. На свою ответственность я раздала без карточек сахар и табак. Деньги собрала. Понемногу доплыли до Крестов. Так как лов уже давно начался, меня никуда больше не послали. Маму я едва узнала — лицо распухшее, настроение скверное.

— Что случилось? Болит зуб? — спросила я.

Мама рассказала, что ее вызвал в Казачье Бирюков и велел шпионить за литовцами. Когда мама наотрез отказалась, Бирюков бил ее головой об стол и кричал:

— Ты сама тут сдохнешь, и твои дети сдохнут! Я о тебе напишу и твоего мужа расстреляют!

— Моего мужа уже загубили, — сказала мама.

В конце концов ее отпустили домой.

Приплыл пароход, и мы, мастера по засолу, побежали, чтобы встретить нового технолога. На барже возле нескольких деревянных чемоданов стояла высокая, худая, чем-то напуганная девушка. Мы подбежали и спросили:

— Вы — наш новый технолог Хорошева?

— Да, это я.

— Так пошли! — И мы подхватили ее чемоданы.

— А где эти ссыльные? — спросила она, запинаясь.

— Это мы! — ответили мы хором.

Девушка остановилась.

— Вы?! Боже мой, а я так боялась! Все меня пугали, говорили, эти ссыльные — бандиты и фашисты, пропадешь ты среди них...

Эльтерман отпустил всех евреев — договорился с начальником отдела безопасности, и те уехали. Еврейка Ася боялась, что некому будет ее заменить, но Ясенас предложил эту работу мне. А работа была такая — обрабатывать статистические данные улова рыбы. В этом деле я совершенно не разбиралась, но Ася пообещала научить. Я согласилась. Сначала было трудно, потом начала соображать, что к чему.

Так я попала в разряд «интеллигентов». Сидела себе в конторе, не задумываясь о том, что будет завтра. И вот раз меня пригласили на собрание начальства. Впервые довелось услышать, как местные начальники ругаются между собой, что они обсуждают. Один из начальников обвинил Эльтермана, что тот ездит к морю не искать новые места для рыболовства, а гоняет катер, охотясь на гусей и лебедей. На том собрании был и приехавший из Казачьего председатель Усть-Янского исполкома Сосин — вручал медали. Когда я услышала свою фамилию, меня словно громом поразило. Я вскочила и пошла к столу. Старичок невысокого роста якут Сосин пожал мне руку и сказал, что я награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов». Мне сдавило горло, я разволновалась, так что даже слезы потекли по щекам. Это было в июле 1947 года.

В это время мама начала работать заведующей детским садом, я помогала ей составлять меню и рассчитывать ежедневные затраты на продукты. Садик располагался в одной комнате стандартного деревянного дома. Игрушек не было, детских книг тоже, даже букварь я сама нарисовала. Никаких картинок дети вообще не видели, кроме портретов Ленина и Сталина. Мама — она была еще и воспитательницей — учила малышей различать, кто Ленин, а кто Сталин. Однажды приехала комиссия из районного отдела народного образования. У одного члена комиссии из кармана торчал край журнала «Крокодил», и дети, никогда не видевшие книг, тянули ручки, желая посмотреть, что это. Проверяющий выта-

шил журнал, на обложке которого была карикатура: лев терзает ягненка. Дети с интересом рассматривали картинку.

— Кто это? — спросил проверяющий, ткнув пальцем в льва.

Все хором закричали: «Сталин! Сталин!» Мама чуть не умерла от испуга. Взяв себя в руки, объяснила, что, кроме этих двух портретов, дети не видели никаких картинок. Комиссия состояла из порядочных якутов, и все обошлось.

Альгирдас Масюлис женился на Виде Индрюнайте, жившей в Казачьем с двумя братьями, Янушас Каулакис взял в жены Гене Лукошайтите, Владас Казела — немолдую ополяченную Янкаускайте, Дануте Кубилийте вышла замуж за Виталиса Лукошайтиса... Ну, а я... стала опасаться, что останусь в девках.

И снова приближался Новый год — теперь уже 1948-й. Шли чередой годы, похожие один на другой, как бусинки четок, бессмысленные, скучные. Вечерами ложилась, и меня посещали тяжелые мысли. Для чего мы появились на свет? Чтобы писать дурацкие бумажки и чертить бесконечные карточки?! И для этого мы учились?! А папа! Трудился, старался, делал все, чтобы Литва поднялась из развалин, собирал деревянные скульптурки и другие произведения народного искусства, ездил по Литве с фотографом Жибасом, с молодым художником Андрияускасом — чтобы не было утрачено ничего ценного, чтобы все сохранить для детей, для будущего... А теперь вот его косточки покоятся на Урале... Почему позволено так издеваться над людьми? И я начинала за компанию с другими пить эту злополучную бражку. Выпьешь — и ничто тебя не волнует, ничего не боишься. По пьяной лавочке я раз оказалась в собачьей конуре. Ну и что? Хоть молодежь потешилась! Единственно, что меня сдерживало, так это сознание того, что я литовка и не имею права позорить это имя.

15 декабря мы услышали сочный голос Левитана: «Внимание, внимание! Работают все радиостанции Советского Союза. Передаем важное правительственное сообщение. С 15 декабря упраздняется карточная система, начинается осуществление денежной реформы и цены на товары снижаются в среднем на десять процентов!» Вот это подарок к Новому году! Все радовались, что цены снижаются на десять процентов, забывая при этом, что в 1946 году они возросли втрое. Карнавала мы уже не готовили. Обленились. Праздновали, переходя из юрты в юрту, — может, где-нибудь дадут выпить.

Юргис начал захаживать к Аньке Лижиной, муж которой Дмитрий Крепких сидел в тюрьме, а ребенок содержался в интернате.

Ядзя заходила ко мне все реже, она призналась, что влюблена в Юргиса. Захожу я раз к Масюлисам, смотрю, сидят Ядзя с отцом, а за стеной у Аньки слышен голос Юргиса.

— Ядзя, чего ты сидишь тут? — спрашиваю.

— Юргиса жду, он вышел в туалет...

— Разве не слышишь — он у Аньки!

Отец молчит, ничего не говорит.

При случае я упрекнула Юргиса, зачем водит Ядзю за нос.

— Не вожу я ее, я специально ушел к Аньке! Наверно, она дура, раз не видит, что не нужна мне.

Я все рассказала Ядзе.

— Зачем ты так унижаешься! Он же не достоин твоей любви, такой бабник! — воспитывала я подругу.

Ядзя согласилась. Вскоре она попросила Эльтермана, чтобы разрешил ей навсегда вернуться в Коугастах и работать там. Ядзя уехала и вышла там замуж за заведующего торговым пунктом Петьку — рыжего, низкорослого, постоянно хрустящего суставами пальцев. Может, от злости на Юргиса вышла...

А по конторе разнеслась весть, что из верхоянской тюрьмы возвращается Анькин муж Дмитрий. Анька сло-

мя голову помчалась домой, потому что после ежедневных выпивок там все было вверх ногами. Однако Дмитрий, которого из Казачьего на катере привез Юргис, видимо, уже знал, что тут творилось: прямо с катера, не заходя домой, он явился к Эльтерману и потребовал, чтобы его жене срочно дали расчет. Когда Аня вернулась в контору, все уже было готово. Дмитрий велел сразу получить деньги, уложить вещи, взять ребенка из интерната — и на катер. Забрав в контору проститься, Анька мне шепнула: «Юргису буду писать на твой адрес. Передавай ему!» До морского парохода их снова вез Юргис. На обратном пути его скрутил радикулит, и домой его принесли на носилках.

Лежит Юргис, шевельнуться не может. Отец вернется с работы, поест и спешит в контору переплетать папки. Юргис стукнет в стенку, я иду.

— Юрате, подсунь мне тазик!

Понимаю, как трудно ему просить меня о такой услуге. А что поделаешь, за стеной теперь поселились Гасюнене с дочкой, не их же просить. Осторожно подставляю таз, потом все прибираю — совсем как сестра милосердия. Только вши не дают покоя, собираю их, сколько могу, ухожу на работу, терплю — чесаться стыдно. Вернувшись после работы, снова устраиваю на них охоту. Не оставлять же из-за этого друга в беде?!

Юргис уже привык — едва успеваю перекусить, как он уже стучит. Беру с собой какое-нибудь рукоделие, чаще всего — вязание, и спешу к своему больному. Сидим, болтаем. Юргис понемногу поправлялся. Люди посоветовали взять утюг и через тряпку прогревать ему поясницу. Он уже начал садиться, играл на аккордеоне, учил меня. Прихожу, поиграю, повяжу, приготовлю поесть, почищу рыбу, потому что отец Юргиса терпеть не может этой работы. Раз Вайдас распахнул дверь Масюлисов и крикнул:

— Хватит собирать вшей, марш домой!

Однако мне было двадцать четыре года, и я не больно-то принимала к сердцу поучения брата. Не слушалась я и мамы, стала отговариваться, чего прежде у нас не бывало. Юргис помаленьку начал ходить, опираясь на папочку. Приходил в контору.

Приближалась годовщина Октябрьской революции. Черепанов решил официально объявить, что Женька Артюховская, которая работала почтальоном вместо уехавшей Розы, его жена, и устроить свадьбу. Мы с Юргисом уже успели превратить свой сахар в бражку у немца Рейха и там гуляли. Потом зашли к Черепанову. Заглянул туда и сам Эльтерман.

— Исай Моисеевич, тут свадьба! — крикнул Черепанов. — Угадайте чья?

Эльтерман поднялся и сказал:

— Девушка, с которой я чокнусь, будет невестой, а молодой человек — женихом, — и, подойдя ко мне, он стукнул своим стаканчиком о мой, а потом чокнулся с Юргисом.

Все рассмеялись — никто не рассчитывал на такую свадьбу. Мы вернулись к Рейху и продолжили пить. Там и заснули кто где. Наутро я встала довольно поздно, за окном мела пурга. Юргис наигрывал что-то на аккордеоне, я стояла возле печки и смотрела в окно. Вдруг я увидела маму, бредущую по глубокому снегу, скорее всего, от Ядзи. Сдавило сердце — как низко я пала: дома не ночевала, маме приходится искать распутную дочь! До сих пор я всегда добиралась до дому... Что теперь подумает мама! Я стала плакать навзрыд. Юргис швырнул аккордеон на кровать и дернул меня за руку, чтобы я села подле него.

— Чего хнычешь?

— Видишь, мама ищет...

— Сколько тебе лет, что мамы боишься?

— Я не боюсь, но мне стыдно, что я так опустилась...

— Давай поженимся и всем разговорам положим конец!

Я передернула плечами. Разве так предлагают выйти замуж? Нет, не так представляла я себе эту сцену, не так мечтала получить предложение! «Давай поженимся» — это прозвучало так, как будто он сказал «давай поедим». Но в голове пронеслось: «Девки из-за Юргиса с ума сходят... Утереть им нос?.. А то еще, глядишь, старой девой останусь... Я выйду замуж, а Анька будет ему письма писать...» Припомнились все девчонки, которых я, по его просьбе, приводила познакомиться и оставляла. «А может, серьезнее станет, когда женится?»

— Пошли домой, скажем родителям! — решительно заявил Юргис.

Сначала мы пошли к его отцу, но не застали его дома. Заглянули в женскую юрту и сказали, чтобы готовились к свадьбе. Женщины смеялись, думали, что мы, по обыкновению, валяем дурака.

Маму нашли у Анны Степановны. Они сидели, положив руки на стол, и время от времени давили проползающих мимо клопов. Мы остановились в дверях. Мама сердито посмотрела на нас.

— Mamочка, мы женимся, — сказала я.

— Даст Бог, закончится все это безобразие. Пошли домой!

Уже дома мама спросила:

— Юргис, а ты сумеешь жить по-человечески? Ведь ты совсем спился.

— Вообще не пить не обещаю, но постараюсь уменьшить норму, — ответил Юргис и добавил: — А Юрате пусть перестанет рассказывать анекдоты — куда ни пойдешь, всюду услышишь анекдот, оказывается, все это ее язычок.

— А деньги на свадьбу у тебя есть? — снова спросила мама.

Я знала, что, кроме долгов, у него нет ничего.

На другой день мама пригласила Юргиса с отцом к нам.

— Лучшей снохи мне и не надо, — сказал отец.

Свадьбу назначили на 20 ноября. Денег у Масюлисов не было. На моей сберкнижке лежало две тысячи рублей, их мы и решили пустить на свадьбу. Мама отдала мне кремовый гипюр, которого здесь никто не покупал. Юргис носил галифе и гимнастерку сталинского фасона, из которой решили сшить спортивную куртку. Жильвитене пообещала все сделать. Гимнастерку надо было распороть и выстирать. Глажу я постиранные куски и соскребаю ножиком гнид — стыдно портнихе отдавать. Мама подошла ко мне, обняла и заплакала:

— Вот как я выдаю замуж свою доченьку! Вместо того чтобы заботиться о своих туалетах, сидит и соскребает гнид с лохмотьев жениха...

Когда о свадьбе мы сообщили будущим гостям, мои подружки пообещали сварить бочонок бражки, второй бочонок пообещали приятели Юргиса. Осталось позаботиться о закуске и о запасе спирта на случай, если не хватит выпивки. Только когда Жильвитене стала шить мне платье, литовские женщины поверили, что мы не шутим. Эльтерман уехал в командировку, предварительно подписав два приказа: первый — по случаю свадьбы провести в наш дом электричество, до сих пор оно было только в конторе; второй — выделить нам нарты с собаками, чтобы мы могли съездить в Казачье и зарегистрировать брак.

Собравшиеся гости проводили нас. Костя Третьяков привез и якутскую шубу из оленьего меха, надеваемую через голову, — кухлянку. Но мне она не понравилась, и я поехала, укутавшись в ватное одеяло. Платье не надела и была в ватных штанах и синей телогрейке.

За столом сидела якутка. Когда мы сказали о цели нашего визита, она скривилась:

— Не могу, я дежурю.

Мы стали ее умолять, но она не пускалась ни в какие разговоры. Мы пошли к Бирюкову и изложили свое дело. Бирюков вспомнил меня, пошел к той якутке и велел немедленно зарегистрировать брак.

— Чернила замерзли!

— Возьми мои! — рассердился Бирюков.

Та неохотно пошла за чернилами. Тем временем явился какой-то начальник в форме и начал кричать, что мы стравливаем между собой работников милиции.

— Поехали назад, раз она так артачится, все равно не регистрирует, — сказал Юргис.

Вернулись мы домой. О том, что произошло в Казачьем, рассказали только родителям. Я переделалась у Юргиса. Сбежавшиеся русские женщины не могли налюбоваться на мое платье — такой нарядной невесты им никогда не доводилось видеть. Спереди все платье было украшено цветами из лебединых перьев маминой работы, такие же цветы я приколола и к волосам. Для тех условий я выглядела потрясающе, однако себя как невесту я представляла всегда только в белом платье. Наша свадьба была веселой, шумной, не обошлось и без драки. Дело в том, что, пока мы угощались в нашей квартире, в квартиру Юргиса зашел начальник радиостанции татарин Нигматуллин, увидел бочонок бражки, зачерпнул два ведра, пошел к себе домой и пил там... Пришлось выдать запас спирта, потому что бражки осталось совсем немного. За это парни и пошли бить Нигматулина. На аккордеоне играла на нашей свадьбе Бенкуте.

После свадьбы, когда все опохмелились и все уже было убрано, мы с Юргисом перевели дух и сели на кровать. Я положила руки ему на грудь и прижалась к нему.

— Я не кот, меня никто не ласкал, и я не умею ласкать, — сказал мой избранник, снимая мои руки со своей груди.

Я смотрела на него, выпучив глаза. Зачем же в книгах пишут о любви, о нежности, о ласках, если их нет! Не так представляла я себе замужнюю жизнь. Не так.

Стало обидно и так жалко себя, что я выбежала из дома. Мороз обжигал. Я плакала. Вышел Юргис.

— Ну, чего расхныкалась? Будем жить, как все!

Неужели все? Ведь помню же я, как папа обнимал, целовал, ласкал маму... Что ж, никто не заставлял меня выходить за Юргиса. Я решила, что моей верности и заботливости будет достаточно для поддержания огня в нашем семейном очаге.

Альгис Масюлис рассказал, что, идя из Казачьего на нашу свадьбу, он увидел в одном дворе, как Славка колет дрова. Поздоровался, спросил, где Славка пропадал. Оказывается, работал в шахте, подкопил денег.

— А для чего тебе деньги?

— Жениться собираюсь.

— На ком же?

— На Юрате!

— А я иду на свадьбу. Пошли вместе!

— Чья свадьба?

— Юргиса.

— А она кто?

— Юрате!

Славка, как стоял, замахнувшись топором, чтобы разрубить полено, так и врезал себе по пальцу — половина упала на колоду.

Примерно через неделю Славка появился в Крестах — и прямо к нам. Одну ночь переночевал, сидит, болтает. Вторую ночь снова у нас и ничего не делает. Спрашиваю Юргиса, сколько он тут будет. Юргис тоже понятия не имеет. В конце концов я рассердилась и говорю:

— Сколько еще ты собираешься у нас жить? Мы никак из долгов не можем вылезти, а тут еще и тебя корми...

— Сколько пожелаю, столько и буду! Я Юрку поил, пусть теперь он меня покормит... И палец я из-за тебя отрубил, вот и кормите теперь меня.

У меня было очень много работы, все еще много времени отнимала война с вшами — я стирала, гладила, соскребала гнид. Надо было и в лес съездить за дровами, и куропаток ощипать. Раз я попросила каюра Довбиша одолжить мне рыбхозовских собак, чтобы съездить за дровами, потому что поблизости уже трудно было найти сухое дерево. Я забралась поглубже в лес, перевернула нарты, чтобы собаки их не увезли, взяла топор и побрела по сугробам. Найду сухой ствол, срубая его и бросаю в кучу, а потом эти кучи стаскиваю к нартам. Жарко стало. Сняла я свою замечательную шапку из лисьих лапок и бросила на нарты. И снова бреду в чашу и рублю сухостой. Уже и темнеть начало. Вдруг слышу, что мои собаки лают и рвутся. Я перепугалась: неужели волки напали?! Тащусь обратно, смотрю, собаки сцепились в один клубок и остервенело что-то рвут друг у друга. Подошла ближе и остолбенела: это они яростно терзали мою шапку! Так я лишилась своей прекрасной шапки из лапок северной лисы, подаренной добрым Франсом. Домой вернулась, замотав уши шарфом.

Славка все еще жил у нас, и я уже заставляла его что-то делать. А сама все приводила в порядок свой дом. К свадьбе женщины сшили мне из хлопка занавески на двери, покрывало на кровать и наволочку на маленькую подушечку. Жена Эльтермана подарила пластмассовую шкатулку с красной крышкой, которая мне тогда казалась очень красивой, она стояла у меня на столике на вязаной салфетке. Замотанная заботами и работами, я сильно похудела. «Юргису это должно нравиться», — думала я. Перед свадьбой, когда я была уже нарядно одета, он пристрастно осмотрел меня, покачал головой и сказал:

— Все хорошо, но надо немножко похудеть.

Меня это обидело, и мысленно я перечислила свои пожелания: чтобы ходил прямее, чтобы не лысел, не пил, не курил, не брал деньги взаймы, стал серьезнее и так далее.

Прошел год, а мы все жили без регистрации. Я беспокоилась, что пора оформить наши отношения. Юргиса в Казачье не отпустили, а мне как раз надо было взять туда документы. В Казачьем жил Альгирдас (Вида с сыночком Арунасом к тому времени уже уехала к отцу в Алтайский край). Юргис написал, что доверяет брату расписаться за него в загсе.

Пошли мы в загс, где по доверенности Юргиса нас с ним расписали, а подпись в книге регистрации поставил Альгирдас. Доверенность бестолковая якутка вернула мне — она и по сей день у меня. Так 28 декабря 1948 года я официально стала Масюлене и женой не своего мужа.

Славка продолжал жить у нас, и мы никак не могли от него отделаться.

Юргис был ко мне добр, ни разу не поднял на меня руку, как это было принято у тамошних мужей. И бабой ни разу меня не назвал. Если какой-нибудь русский бросал спешащему домой Юргису: «Бабы своей боишься, что ли?» — он всегда отвечал: «Может, у тебя и баба, а у меня жена!»

Ни разу в жизни он не сказал обо мне ничего плохого. Пить не бросил и меньше пить тоже не стал, хотя мы ходили всюду вместе. До свадьбы он говорил:

— Будь у меня жена, я говорил бы, что она не разрешает, и не шел бы пить.

Теперь у него была жена, однако пить бросила я. Он же напивался до того, что я приводила его домой, и раздевала, и в постель укладывала. А он удивлялся:

— Что ты за человек! У тебя совсем нет характера — что тебе ни скажешь, ты со всем соглашаешься.

Я старалась изо всех сил, чтобы у нас в семье все было хорошо, чтобы не было ссор и ругани. Но вот отец стал ходить по знакомым и жаловаться, что я его обижаю, что Юргису даю есть больше, а ему меньше. А что я для Юргиса от себя отрываю, этого он не замечал. Вечерами он уходил за стенку к Гасюнене и там подолгу

сидел. Потом стал попрекать Юргиса, что раньше тот приходил и что-нибудь рассказывал, а теперь «все с Юрате да с Юрате говоришь, будто меня и нету». Действительно, мы и не заметили, что, возвращаясь домой, Юргис всегда обращался ко мне, а не к отцу. Мне это казалось естественным. Продавщица попросила меня связать платок из пуха северной лисы. Я связала и за работу получила сахар и муку. Смотрю, отец, взяв стакан, черпает сахар и муку и тайком относит Гасюнене. Он ей и дрова покупал.

Однажды Славка собрался к Альгису в Казачье. Мы попросили отнести ему Улахана, потому что от старого кота так воняло, что во всей нашей уютной квартире стоял неприятный острый запах. Славка сунул за пазуху сибирского кота и ушел. Вернулся уже без Улахана. Через пару дней мне понадобилось идти в Казачье. Иду по берегу реки, смотрю — навстречу якут идет. Хотя он был еще далеко, но видно сразу — маленький, ноги кривые, раскачивается из стороны в сторону. Я перепугалась, надо как-то дать понять, что я не русская. Он подошел совсем близко. Вижу, за торбас нож засунут. Якут заговорил первым.

— Дороба, — поздоровался он.

— Дороба, — отвечаю.

— Нюча? (Русская?) — спрашивает он.

— Нет, литовка, — отвечаю по-якутски.

— Что значит «литовка»?

— Литва, Эстония, Латвия, Финляндия... — пытаюсь объяснить.

— Оксие! Пин! (Ого! Финляндия!) Хана барда? (Куда идешь?)

— В Казачье.

Якут попрощался и пошел в направлении Крестов.

В мае мы снова услышали голос Левитана. Он сообщил, что цены понижаются еще на десять процентов в среднем. И снова «жить стало лучше, жить стало весе-

лей». Юргис мотался с аккордеоном по гулянкам, таскал с собой и меня.

Приближались выборы. Из Якутска приехал наш кандидат в депутаты юрист Калинин, молодой красивый мужчина. В конторе он принимал избирателей. Мне пришла в голову мысль обратиться к нему по поводу той давней недостачи соли. Я написала заявление, все изложила в нем и пошла в контору. Калинин пригласил сесть, предложил папиросы «Беломорканал» — пачка лежала на столе, и он предлагал каждому, кто приходил. Я и на словах ему все рассказала, и заявление оставила. Казалось, он поверил, что говорю правду. В клубе готовилась встреча с кандидатом. Наумкин велел мне подготовить выступление. Я всячески отнекивалась, но никто меня не слушал:

— Ты на сцене отлично чувствуешь себя, вот и выступишь от молодежи.

Я написала текст, предварительно показала его Наумкину, тот одобрил. Ходила по комнате и повторяла свою речь. Все было складно. Но когда поднялась на трибуну, горло сдавило, голос пропал, все, что я заучила, куда-то уплыло... И я с грехом пополам выдавила из себя:

— От имени молодежи призываю всех голосовать за блок коммунистов и беспартийных!

Калинин уехал. Меня выдвинули в избирательную комиссию — считать голоса. Еще мне предстояло дежурить и крутить на патефоне пластинку: на одной стороне было «Эх, Настасья, эх Настасья», а на другой — «Дуня-тонкопряха». Там работал и буфет, отец Юргиса позволил мне торговать спиртом. Когда я отдала ему вырученные деньги, он меня похвалил, что умею торговать, хотя Юргис не один стакан спирта налил себе бесплатно.

Вскоре из Якутска пришло письмо: «Бывшему мастеру засола Юрате Бичюнайте недостачу соли списать».

Теперь я могла ехать куда угодно, только бы комендант разрешил.

Приближалось Первое мая. Юргиса все наперебой приглашали на гулянки, переманивая его друг у друга, потому что музыкант всюду нужен. Ну, а Юргис мог выбрать, где ему приятнее гулять. Мы пошли праздновать к механику Кашкареву. Я вернулась домой за носовым платком и нашла там Славку уже в сильном подпитии. Он поднялся и схватил меня в охапку. Я оттолкнула его, но он не успокоился.

— Все равно ты будешь моей! — пыхтел пьяный Славка.

Я вырвалась и, выбегая, крикнула:

— Ну, погоди, я сейчас все расскажу Юргису!

Вернувшись к Кашкареву, я сказала Юргису, что произошло. Он швырнул аккордеон на кровать и большими шагами направился домой. Я поспешила за ним и видела, как кувырком вылетел Славка и валялся на земле, сверзившись с лестницы. Потом кое-как поднялся, еще какое-то время похорохорился, даже нож из-за голенища вытащил, и пошел искать новое пристанище. Люди рассказывали, что объявился он в Коугастахе, где вместе с одним заключенным, будучи совсем пьяным, убил другого заключенного и получил высшую меру.

Рыбы становилось все меньше. Эльтерман получил из Якутска распоряжение постепенно готовить рыбзавод к ликвидации. Отдел кадров приводил в порядок документы спецпереселенцев, выписывал трудовые книжки, в этой работе принимала участие и я. Выписала трудовую книжку своей маме, досконально отразив в ней ее трудовую деятельность. Поскольку у мамы не было всех необходимых документов, в графе, где надлежало написать: «Подтверждено документами», я писала: «Как сама говорит», и даже те бумажки, которые могли подтвердить мамин трудовой стаж, остались в конторе рыбзавода. Я тогда не понимала, что не подтвержденная документами работа не засчитывается в стаж.

Эльтерман получил приказ выслать в Якутск два катера со всей командой. На одном катере помощником начальника работал Вайдеутис, на другом начальником был Юргис. Неужели нам улыбнется такое счастье, что мы сможем переехать в Якутск, где и сообщение совсем другое, и вообще он ближе к Литве! Эльтерман был хорошим человеком, он сделал так, что обе мои семьи были определены в Якутск. Вот только отец Юргиса... Пока Юргис плавал на катере, отец все навещал Гасюнене. Однажды вечером он позвал меня к ней. Стол был накрыт белой скатертью, стояла бутылка и закуска. Пригласил садиться. Начал отец так:

— Юрате, ты сама видишь, что с тех пор, как ты пришла в наш дом, я остался в стороне и чувствую себя никому не нужным... Поэтому я нашел себе подругу, которая будет мне спутницей до конца моих дней. С этого дня я перехожу жить к Стасе.

Так я отпраздновала свадьбу отца Юргиса и мачехи.

В сентябре 1949 года вышел приказ пересмотреть состав команд катеров. Собираться долго не пришлось. Мы сложили свои пожитки и отправились к верховьям реки. Прощаясь с товарищами, Юргис напился так, что уже не мог стоять у штурвала. Мне ничего не оставалось делать, как взять штурвал в свои руки. Первый и последний раз в жизни. В свое время Юргис мне объяснял, как находить фарватер и что означают знаки на берегу. Я вела первый катер, и весь караван следовал за мной... В конце концов Вайдас увидел меня за штурвалом и вырвал его у меня из рук:

— Сумасшедшая, посадишь на мель, мы до Якутска и не доплывем!

Благополучно добрались до Коугастаха. Встали у берега. Вся команда, хорошенько упившись, спала. Нам предстояло ждать морское судно. Я сошла на берег и направилась к Ядзе. Чувствовала я себя неловко: Ядзю от Юргиса отговорила, а сама вышла за него... Отдала ей крестик, попросила, чтобы она никогда его не продава-

ла. Во имя своего будущего ребенка Ядзя пообещала не продавать.

— Живу хорошо, — рассказывала мне Ядзя. — Денег навалом, едим досыта, одеты-обуты, Петька хорошо зарабатывает, любит меня, к этому прохвосту Юргису я тебя нисколько не ревную.

Она была беременная. Жил с ними и ее брат Владас. Ядзя предложила мне посушить сухари в дорогу — кто знает, всегда ли сможем купить продукты. Я так и сделала. Приехал Эльтерман. Юргис купил пару бутылок коньяка, чтобы угостить его. Мы простились с Эльтерманом, поблагодарили его за доброе сердце — ведь он вполне мог оставить Вайдевутиса с мамой в Крестах.

Приплыло морское судно, потащило наши катера в море. У меня сжалось сердце — семь самых лучших и самых страшных лет моей жизни, перекатываясь, как огромная волна, через камни и пни, с грохотом и стоном промчались безвозвратно... Я смотрела на волны, и казалось, глубоко-глубоко на дне вижу Римаса с колышущимися, как водоросли в нашей реке Швянтойи, волосами. Вдруг наш катер стало бросать, как щепку.

— Все на палубу! Живее! — кричал капитан судна.

На катере все пришло в движение — со стола упала чашка, чемоданы бросало из одного конца каюты в другой, мы с мамой держались за стены... В дверь сунул голову Юргис:

— Скорее! Катера стали вдоль волны, в любой момент могут перевернуться! Вас сейчас поднимут наверх. Надо будет карабкаться по веревочным лестницам — бойтесь, главное — не смотреть вниз!

Я вышла на палубу. Юргис крепко держал меня за руку. Меня всю трясло. Возле дверцы уже была опущена веревочная лестница. Крепко, как тонущая, я ухватилась за веревки и стала лезть вверх. Я поднималась очень осторожно, шаг за шагом.

— Вот и молодец! Не смотри вниз! Ах, ты оставила там своего милого! Не бойся, не убежит — он за катера отвечает! — подбадривал меня кто-то сверху.

Когда палуба была уже рядом, две сильных руки подхватили меня и в мгновение ока подбросили под потолок. Я перевела дух. Вскоре благополучно забралась и мама. Мы обнялись. На палубе корабля было совершенно спокойно, не ощущалось никакого волнения. Катера подтянули, и корабль двинулся в направлении Тикси.

В Тикси формировался последний караван, потому что скоро река могла замерзнуть. Пароход, которому предстояло вести караван, назывался «Брусиллов». К нему прицепили десять барж, потом пароход с каютами и уже затем наши катерки. Я пошла набрать пресной воды из стоявшей на берегу цистерны. Когда я шла по трапу, сильный порыв ветра вырвал у меня из рук алюминиевый чайник. Как нарочно — именно в этом месте, когда мы плыли по Яне, пошла ко дну крышка от этого чайника, а теперь утонул и он сам! На стоявшую рядом баржу грузили капусту. Мне страшно захотелось капусты! Свежей, хрупкой, тушеной!

— Эй, ребята, может, продадите хоть один кочан?

— Лови! — крикнул мне один из парней и бросил большой, тяжелый кочан.

Я поймала его и отнесла маме. Скоро из кухни донесся запах тушеной капусты, и мне... стало плохо. «Отвыкла!» — подумала я, не догадываясь о настоящей причине.

Шторм утих, и наш караван тронулся в путь. Юргис пил, пил каждый божий день, пил весь караван, пассажиры и моряки, мужчины и женщины. Когда мы вошли в устье Лены, началась качка. Снова поднялся ветер. «Брусиллов» тянул караван, тяжело пыхтя. Караван был таким длинным, что, хотя пароход и плыл посередине реки, наши каюты и оба катерка все еще тащились у самого берега, царапая дном каменистые берега. Дно нашего парохода было металлическим, и потому в каютах

стоял такой грохот, словно мы находились внутри огромной жестяной банки, катающейся по камням. Не в силах выносить такой шум, мы бросились на палубу. Штурвалы обоих катеров были сломаны. Ветер усиливался. Загорелась баржа. Оставив караван, «Брусиллов» поспешил гасить пожар. Горящая баржа напомнила висевшую у нас в гостинной картину Айвазовского, где был изображен пожар на корабле: ночь, над кораблем в темноте розовыми отсветами извиваются языки пламени, словно лепестки гигантского георгина... Пока «Брусиллов» справлялся с пожаром, караван под натиском ветра и волн скрутился, нарушив первоначальный порядок расположения судов, и тросы толщиной в палец, соединявшие суда между собой, натянулись, как струны. На носовой части переднего корабля стояло много любопытных, наблюдавших пожар. Капитан проплывавшей мимо баржи крикнул: «Сейчас лопнет трос! Кто хочет остаться в живых, отойдите от борта!» Люди едва успели покинуть палубу, как трос лопнул, выбив при этом все стекла носовой части корабля, где находился красный уголок — излюбленное место попоек. Наши катера затягивало под приподнявшуюся корму пассажирского корабля. Матросы изо всех сил старались оттолкнуть их крюками подальше, однако волна швырнула катер Юргиса, как щепку, под выступившую из воды кормовую часть корабля, а опустившись, она разможила весь верх катера. Были серьезные поломки и в носовой части второго катера, а все инструменты бесследно исчезли в волнах Лены. Юргис с Вайдасом и Крафтом составили акт. Выяснилось, что Юргис тем временем пропил все деньги, и он велел мне занять у мамы. Мама отдала ему все, что у нее было. Он пропил и их и отправил в Якутск телеграмму, прося выплатить ему аванс. На почте одного из поселков мы нашли деньги, присланные для всей команды. И снова было на что пить. Мне уже делалось страшно. Когда Юргису надоедало пить, он играл на аккордеоне. Со своими друзьями он ходил из каюты в каюту, одни угоща-

ли, другие угощались. Однажды в нашу каюту забрел мальчик лет десяти Славка. Он казался ненормальным, дико вращал глаза, потом подошел к Юргису и попросил:

— Дядя, дай опохмелиться!

Юргис засмеялся:

— Молод еще опохмеляться! Разве что молоком!

— Не смейся! Отец уже опохмелился, а мне не дал. Я без водки не могу, сам видишь. Бога ради, дай!

Юргис налил ему чарку, тот мигом опрокинул ее. И, уже оживившись, рассказал:

— Вчерась утром пошли мы в буфет. Отец выпил чарку, поправил здоровье, а мне не дает. Я говорю ему: «Дашь, б..., опохмелиться или нет?» А он мне толкует, что, дескать, денег нет. А мое какое дело: ты отец, ты и должен купить хоть вина для поправки здоровья. Смилостивился, купил стакан вина, сразу веселее стало!

Пьяный мальчишка болтал, а нас охватил ужас.

Когда мы спросили у протрезвевших родителей, как случилось, что десятилетний сын уже алкоголик, мать ответила:

— Пьем мы, бывало, а он лежит в люльке и орет, веселиться мешает. Налью я ему бутылочку разведенного спирта, он выпьет и засыпает. Едва стал говорить, как принялся кланчить водку...

— А вы не подумали о том, что с ним будет, когда он вырастет? — спросила мама.

— А что будет?! Станет жить, как и мы. Так еще дольше протянет: ни о чем не думаешь, нервы себе не портишь, — объясняла Славкина мать.

Наконец, после пятидесяти двух дней, проведенных в пути, 26 октября мы приплыли в Якутск. Наутро явились в рыбтрест и представились. Предстояло пройти медкомиссию. Выяснилось, что я жду ребенка, и с работы меня уволили. Жили мы на катерах. Юргис с Вайдевутисом должны были сдать катера и идти работать на якутский рыбзавод.

Я ходила по Якутску в поисках работы.

Иду раз по улице, а навстречу мне Куликов, который на Яне был начальником Юргиса. Остановился и смотрит.

— Юрате?

— Она самая.

— Когда приехала?

— Недавно.

— Где-нибудь работаешь?

— Пока нигде.

— Вот и хорошо! Приходи к нам счетоводом.

— Но я не знаю этой работы.

— Ничего, ты способная девушка, справишься.

— А я не девушка, я вышла замуж!

— За кого же?

— За Юргиса Масюлиса.

— Ну и выбрала!

— Не такой он плохой, как вам кажется.

— Так жду в управлении, обслуживающем малые реки, — я там начальник. — Он попрощался и ушел.

Мне хотелось работать в бухгалтерии. На другой день я пошла в то управление. Куликов принял меня сразу. А когда я принесла справку из поликлиники, что беременна, он только усмехнулся:

— Ну и что, родишь еще одного моряка!

У мамы очень высоко поднялось кровяное давление, и ее положили в больницу. Квартиру нам дали на улице Северной, недалеко от моей работы. За стеной жили ополоченные литовцы — старик Зенчикас, бывший начальник железнодорожной станции Мауручай, вернувшийся из лагеря, его дочь, вышедшая замуж за Домейку, и их девочка. Когда разговорились, выяснилось, что Домейка знал Славку Горбачевского. Я сказала, что его расстреляли, но Домейка возразил: «Жив он! Когда его поставили к стенке, то другой признался, что он один уокошил того заключенного — Славка был так пьян,

что ничего не помнил. Только Славка теперь совсем седой...»

Юргиса снова скрутил радикулит. Приближался Новый, 1950-й, год. Мы заболели гриппом, к тому же открылся понос. Как сказал врач, «желудочный грипп». Нам выписали лекарства, заполнили на нас карточки и велели прийти в поликлинику, когда спадет температура. Новый год мы встретили в постели. Когда температура спала, пошли с Юргисом в поликлинику. Юргис зашел первым, но скоро сестра позвала меня. Юргис сидит, а врач спрашивает у меня:

— Фамилия, имя, отчество?

— Масюлене Юрате Витаутасовна, — отвечаю.

Врач Александрова рассмеялась:

— Сам черт шею сломает, прежде чем разберется в этих ваших именах и фамилиях. Знаете, что тут написала врач, которая была у вас на дому? Она написала, что у Масюлене Ю. В. желудочный грипп, а у Масюлиса Юргиса Владиславовича, то есть тоже Ю.В., желудочный грипп и четыре месяца беременности!

Юргиса положили в больницу, маму тоже. Вечерами после работы нас развозили на служебных санях. Ходить по городу было страшно даже днем. Когда наступали сильные холода, тут стоял такой туман, что за шаг уже ничего не было видно. Город кишел ворами и головорезами. Дануте Банюлите, которая тоже жила в Якутске и работала в больнице медсестрой, раз в тумане заметила двух мужчин, склонившихся над третьим. Подойдя поближе, она спросила:

— Простите, что случилось? Ему плохо?

— Плохо, — грубо ответил один.

— Вызвать «скорую помощь»?

— Вызывай!

Дануте побежала в аптеку и, дозвонившись в «скорую», вернулась обратно. На снегу лежал уже мертвый и совершенно голый человек. Бандитов и след простыл...

В декретный отпуск я ушла первого мая. Только тепеь все поняли, почему до сих пор я ходила в ватных штанах, хотя стало уже совсем тепло. 11 июня родилась девочка. Она весила всего два килограмма двести граммов. Веруте сказала мне, что у девочки насморк. Я не поняла, что для новорожденной это опасно. Дочку я назвала Рамунеле — Ромашка, именем цветка литовских лугов. Через неделю искупала ее. Заболела моя дочурка воспалением легких. Положили нас с ней в больницу. Тем временем выяснилось, что нас посылают работать в каменноугольные шахты. Вайдас уехал, а Юргис заявил, что никуда не поедет, пока семья не вернется из больницы. Я заболела маститом, и меня прооперировали. Придя в себя после операции, я увидела, что Рамунеле мокрая и замерзшая. Даже грелку некому было положить. Задрав сорочку, я грела ее своим телом... Рамунеле умерла 4 августа у меня на руках. Ясинене не дала мне нести гробик, сама несла. Юргис шел, обняв меня, не обращая внимания на то, что люди смотрят. Лучшими днями в нашей супружеской жизни были те, когда кончались деньги, — Юргис не пил.

Я пошла к Куликову и рассказала, что нас посылают в Кангаласские шахты.

— Поедешь в Олёкминск счетоводом? Там работает такая старушка, которая к финансовому отчету пристегивает билеты в кино.

— Поеду.

— Твоему Юрке выпишу командировку, но пусть сразу же ищет там себе работу, мне такие работники не нужны. Дам тебе письмо, пойдешь к начальнику госбезопасности, я с ним вместе воевал.

У Куликова было много фронтовых друзей. Под Новый год он летел из Москвы, самолет совершил посадку в Иркутске, а там начальник аэродрома — фронтовой друг. Тот стал уговаривать погостить у него хотя бы сутки. Достать билеты на самолет очень трудно, но друг сказал:

— Вот девушка две недели ждет билета в Якутск, отдай ей свой, а завтра я тебя посажу!

Прибежала в контору вся в слезах жена Куликова:

— Саша погиб! Самолет разбился, а там Саша летел, я телеграмму получила!

На другой день в контору явился живой и здоровый Куликов. Девушка, которой он отдал свой билет, погибла... Видимо, не суждено ему было умереть.

Я пошла в отдел госбезопасности с письмом Куликова. Вскоре было получено разрешение всей семье ехать в Олёкминск. Только моя крошка Рамунеле оставалась здесь...

В Олёкминске я сразу же заступила на работу. Юргис устроился в клуб музыкальным руководителем. Жили мы поначалу в конторе. Идем раз с Юргисом по улице, а навстречу две женщины, говорят по-русски, но сразу видно, что одна из них — литовка. Останавливаем их, извиняемся по-литовски и спрашиваем, не знают ли они, где можно снять комнату. Литовкой оказалась Ванда Тумасонене, продавщица в магазине хозяйственных товаров. Она отвела нас к вдове с пятью детьми. Мы сняли крохотную комнатку, в которой две кровати не поместились — мама на ночь стелила себе на полу. Возле дома нашей хозяйки Скоробогатовой стоял еще один маленький домик, тоже ее собственность. Там жила супружеская пара — оба вконец спившиеся люди. Когда мы поинтересовались, сколько они платят, хозяйка ответила, что нисколько, так как в этом домике никто не хочет жить — пару лет назад там умер ее свекор, болевший проказой. Все окрестные жители это знали и боялись даже мимо проходить, чтобы не заразиться. На берегу Вилюя была колония прокаженных, но свекор не согласился туда ехать, сказал, что хочет умереть в своем доме. Скоробогатова на деревянной лопате подавала ему хлеб, тушеную картошку, наливала в протянутый кувшин воды. Эту лопату санитары сожгли вместе с покойником. Я тоже боялась приближаться к этому домику и его жильцам.

Директор разрешил Юргису перебраться в домик, прилипшийся, как ласточкино гнездо, к клубу (бывшей церкви) — единственной кирпичной постройке во всем Олёкминске. Там уже жил Альгис Пупалайгис с женой Любой, которую нашел себе, когда лежал в якутской психиатрической больнице. Детей у них не было. Альгис играл на скрипке, аккордеоне, рисовал и был неплохим актером. Люба работала в больнице кассиршей. Нашу комнату от кухни отделяли только декорации, дверей не было.

Наступила осень. Река встала и сковала льдом не успевший добраться до Якутска караван. Вся контора набилась работавшими на караване людьми. Что делать? Начальником был тогда маленький, пожилой человек, в прошлом — капитан, Василий Гомзяков. Сняв у местных жителей два дома, он поселил в одном мужчин, в другом женщин. Команды занялись ремонтными работами. Позарез нужна была лошадь, потому что на весь Олёкминск не было ни одной автомашины, все перевозили на лошадях. Лошади тут были нормальные, не такие, как на Яне, — низкорослые, с длинной шерстью. Купить лошадь мы не имели права. Я предложила Гомзякову «аферу» — один колхоз не рассчитался с нашей конторой за привезенное сено, поэтому мы могли договориться с председателем, что в погашение своего долга он даст нам лошадь, которую якобы задрал волк. Так и сделали — уничтожили оба счета и приобрели лошадь. Только неизвестно было, как ее оприходовать, потому что надо было покупать сено и нанимать конюха-возницу. А как платить за сено и держать конюха, если нет лошади! Тогда я придумала написать письмо в трест — дескать, осенью у нашего начальника пропала корова; полагая, что она заблудилась в лесу, начальник ходил искать ее и набрел на бесхозную лошадь; привел домой, мы дали объявление в газете, однако никто не откликнулся... Мы и вправду дали такое объявление, зная, что никто не откликнется. Из Якутска я получила приказ главного бух-

галтера: лошадь оприходовать как приобретенную «на прибыль». Так мы официально получили лошадь, а я успешно начала обучение в школе советского очковтирательства.

Наша контора не была приспособлена для обслуживания такого количества людей. Нахлынула просто масса людей: кроме корабельной команды, на каждой барже были шкипер и матрос. Шкиперами были мужчины, а матросом по большей части брали женщину, которая и готовила, и стирала, и, в случае надобности, канат на берег бросала, ну и шкиперу «ноги грела». Одной из знаменитостей была матрос Роза Шакирова, совершенно отвратительная особа. Начали члены команды нести мне больничные. Я их оплачивала, потому что не знала, что означает диагноз «острая гонорея» и «льюис». Вдруг из Якутска приезжает старичок главбух и с порога начинает кричать:

— Почему сифилитикам больничные оплачиваешь?!

Я объяснила, что не знаю таких диагнозов, к тому же не предполагала, что венерическим больным больничные листки не оплачиваются.

Розу уволили за аморальное поведение. С работы я шла домой, не надевая рукавиц и не засовывая руки в карманы, а по приходе первым делом бросалась отмывать руки. С тех пор я и теперь, приходя из города, перво-наперво тщательно мою руки — мне все мерещится, что они облеплены страшными бактериями.

Юргис продолжал работать в клубе, и жили мы там же. Пришло письмо от Куликова, что умер старый бухгалтер и некому составить годовой балансовый отчет, поэтому он приглашает помочь в этом деле бухгалтеров со всех пристаней. У нас временно работала молоденькая девушка Калерия, которой я поручила свою работу, объяснив, что и как делать. Под Новый год я вылетела в Якутск. Новый год встретила с Ясенасами, у которых и остановилась.

Отпраздновав вместе с коллективом 8 Марта, я с покупками вернулась домой. На командировочные купила материал себе на юбку и Юргису на костюм. На его первый костюм в Сибири. Материал был уцененным — как тогда говорили, трофейным. Хороший, «царский» портной сшил ему костюм, только слишком приталенный, как носили царские офицеры.

Юргис, встретивший меня на аэродроме, рассказал, что наших соседей — Альгиса и Любу — снова увезли в психбольницу. Теперь мы остались в пристройке одни и перебрались в комнату Пупалайгисов. У меня по вечерам стала подниматься температура. В больнице поставили диагноз — малярия. Болела я долго, стало барахлить сердце, и весной я решила бросить работу. Летом мы с Юргисом уходили за город, загорали и купались в Лене. Купались в белье, но проезжающие мимо крестьяне все равно возмущались, — дескать, какие мы бесстыжие, мужчина с женщиной вместе купаются!

Я работала бухгалтером в детском саду, потом перешла в клуб кассиром. Летом соседки стали уговаривать поехать с ними по ягоды. На берегах Олёммы было полно смородины. Мы запрягли лошадь, взяли небольшую баржу и поплыли вверх по течению. Лошадь тащила нашу баржу, ступая по берегу. Остановились в колхозе возле коровника. Порядка тут не было никакого — грязь во дворе, неопрятные доярки, на заборах серые тряпки с прилипшим навозом, как бы салфетки. Коровы бродили, где хотели, никто их не пас, и на их грязные соски налипли и куски навоза, и клочья сена. Мы не стали тут покупать молоко — как такое пить?! Поплыли дальше, снова увидели стада коров — значит, неподалеку ферма. Когда увидели на берегу якуток, и останавливаться не хотели — если уж русские оказались такими неряхами, так чего ждать от якуток.

Но как же мы удивились, увидев до блеска начищенные и надетые на колья бидоны, белейшие салфетки и марлю для процеживания, на молодых якутках бело-

снежные халаты. Мы попросили продать нам молока. Они налили всем по кружке, но денег не взяли. Вот тебе и «дикие» якутки!

Продолжая свой путь, мы увидели на берегу нежилую избу без окон. Решили остановиться в ней на ночлег. Вокруг избы была изгородь из длинных жердей и еще целая калитка. Подошли к выбитым окнам, заглянули внутрь и обомлели: на полу, свернувшись в спираль, кивали головами крупные черные змеи. Мужчины схватили палки и стали их бить. Отталкиваясь хвостами, змеи попрыгали в окна. Кто успел выпрыгнуть, те исчезли в кустах, а побитых мужчины развесили на жердях изгороди. Ночевать по соседству с этими изящными существами никому из нас не хотелось. Заночевали на барже. А наутро поплыли дальше — до ягодных мест.

Мы привезли по четыре ведра крупной красной смородины. Юргис встретил и помог донести. Приближалась осень. Как-то раз в лесу набрали на грибное место и собрали кучу подосиновиков. Так что наварили варенья, засушили грибов, мама насолила целую бочку груздей и еще купили поросенка. Вайдас вернулся из Кангас и теперь снимал с мамой комнату. Он дружил с Изольдой Реклайтите, племянницей летчика Реклайтиса, прелестной девушкой. Я очень хотела, чтобы они поженились, но, когда однажды заговорила об этом, Вайдас сказал:

— Мне не надо красавицы жены, женюсь на такой, на которую никто не польстится. Хватит с меня Гене, которую Банис из-под носа увел!

Изольда вышла замуж за русского.

Каждый вечер мы с Юргисом оба сидели в клубе — я в одном конце продавала билеты, а он в другом конце играл на сцене. Приближался 1952 год. В клубе мы готовили карнавал. Я руководила танцевальным кружком, учила местных девчат танцевать суктинис, кяпурине и другие литовские танцы. Мама из мешков сшила нам юбки, которые красками раскрасила в клетку, из белой

материи сшили кофточки, на которых я красным карандашом изобразила национальные узоры. Сделали мы и кокошники, обвязали их, а ягоды рябины нанизали на нитки, и получились «янтарные» бусы... Танцевали мы и «голубой вальс», который назывался так потому, что марлевые платья мы покрасили синими чернилами. Все работали на голом энтузиазме, ничего нам за это не платили, да мы и не ждали никакой оплаты. На премирование карнавальных костюмов директор выделил 175 рублей. Мой костюм — политическая маска «Два полюса» — снова занял первое место, и я получила сто рублей.

Подошло время рожать. Снова родилась девочка. Когда мне принесли ее кормить, я поразилась — она была точно такая же, как Рамунеле. Юргис уехал с агитбригадой, и из больницы нас привела мама. Первую ночь она у меня и спала. Я проснулась от страшной грозы, мама положила меня около себя на полу и завесила окно. Утром меня стал трясти озноб, поднялась температура, я вся дрожала, даже кормить не могла. Врач сказала, что это приступ малярии. Когда я поправилась, Юргиса вызвали в отдел госбезопасности и велели собираться на лесоповал.

— Увидели, что мы по-человечески начинаем жить, потому и покоя не дают, — сказал Юргис. — Ничего не выйдет! Теперь уже к родным уезжать можно.

Его отец с Гасюнене жили в Сангарае, где находились каменноугольные копи. Юргис выхлопотал для нас разрешение уехать к отцу. Двухнедельную дочку ждала трудная и долгая дорога. Прежде всего надо было ее окрестить. Мы устроили прощание и одновременно крестины. Ксендзом вызвалась побыть Бложене, которая уже окрестила не одного литовского ребенка. Рамунеле в якутской больнице я перед смертью крестила сама — Ясенене научила. Мне хотелось назвать доченьку Дангуоле, но Юргис был против, тогда я выбрала имя любимой папиной сестры, моей тети Дануте. Крестной была Тумасонене, крестным отцом — Вайдас. Бложене при-

несла подвязанный на нитке алюминиевый медальончик (такой же Ясенене дала, когда крестили Рамунеле) и повесила его на шейку запеленутой доченьке. Тумасонене подарила большую целлулоидную куклу, Вайдас принес старинное янтарное ожерелье, которое, ясное дело, купила мама.

В час ночи прибыл пароход, и мы, попрощавшись с мамой и Вайдасом, отплыли. Меня отвели в комнату матери и ребенка, которая уже была полна мам и детишек, однако с таким маленьким ребенком не было никого. Все кровати были заняты, так что нам с Дануте пришлось устраиваться на полу. Так моя двухнедельная доченька проплыла на пароходе по Лене около трех тысяч километров.

Наконец мы прибыли в Сангарай. Никто нас не встретил, даже никто не знал, когда прибывает пароход. Люди сразу показали барак, в котором жили отец с Гасюнене. Гасюнене встретила нас без особой радости, и я поняла, что нас здесь никто не ждет. Отец содержал двух детей Гасюнене — Дануте и Алюкаса. На другой день Альгис пошел искать себе работу. А мне Гасюнене велела выкопать картошку. Я только спросила, не случится ли со мной чего — ведь после родов прошло так мало времени. Гасюнене только усмехнулась, дескать, в деревне женщины, убирая сено, рожают и сразу продолжают снова убирать, а тут всего-то дел лопатой землю покопать! Я копала, а поясница болела все сильнее и сильнее, однако за пару дней я закончила работу и рассортировала картошку. Ту, что покрупнее, оставили на будущее, а мелкую должны были есть теперь.

Юргиса взяли диспетчером на угольное предприятие. Я с маленьким ребенком сидела дома. Дануте была такой спокойной, что отец подходил, смотрел на нее и спрашивал: «Этот ваш ребенок жив?» Обычно она лежала в деревянном чемодане, только когда надо было вынести на воздух, я перекладывала ее в фанерную коробку от масла и ставила на подоконник.

Жить всем вместе было неудобно. Через какое-то время Юргису дали комнату в бараке на берегу, куда мы и переселились. Кухня была общая на три комнаты, в каждой из которых жило по семье. Однако это был настоящий рай — с электростанции по огромным трубам, обмотанным войлоком, текла горячая вода, которая согревала радиаторы! Кроме того, мы приносили горячую воду в ведрах. Казалось, лучше и быть не может. Некрашенный пол я, как делали это русские женщины, отскребала ножом, точно так же — стол и скамьи. После того как умерла Рамунеле, я очень боялась потерять Дануте, поэтому мы с Юргисом решили, что я буду сидеть дома и вышивать. В то время вышитые платья были в моде, и я зарабатывала больше, чем в какой-нибудь конторе. Юргис перешел работать в экспедицию кладовщиком. Начальники частенько заходили к нам вкусно поесть, как они говорили. В этом поселке мы встретили тетю Каму Вайткавичене, она работала медсестрой в больнице. Жили тут и Юргис Гасюнас с семьей, и Ядзя с дочкой Зоей. Ее муж, оказывается, погиб, уже тут она сошлась со старым грузином, в прошлом — режиссером. Свой крестик она снова продала... Жила тут и семья Даугисов. Теодорас работал в столовой главбухом и звал меня работать калькулятором. Однако я очень боялась отдать Дануте в детский сад — работая в Олёмминске счетоводом, я видела, какой там уход за малышами.

К Юргису часто приходили в гости приятели, всем надо было дать выпить, поэтому я варила все ту же бражку — как только трехлитровая банка кончалась, я варила новую. Когда кто-нибудь приходил, не надо было бежать в магазин, да и дешевле получалось.

1953 год мы встретили дома — собрались начальники и друзья Юргиса. В 24 часа мы встретили северный Новый год, а через шесть часов еще раз — литовский.

Близилось лето. Юргис сделал байдарку, мы снесли ее на берег и все трое плавали по реке. 31 июля Дануте исполнился год. Росла она здоровой, красивой девочкой,

ее все любили. Я начала работать в столовой у Даугиса, но, когда мы с ним говорили по-литовски, счетовод Вая просто бесилась — оказалось, что она была влюблена в Теодораса и, не понимая, о чем мы говорим, сходилась с ума от ревности. Я перешла работать бухгалтером в торговую контору. Дануте сначала относилась к Алийошене, у которой была девочка такого же возраста Гайлюте, потом — к Пилипонене, очень добросовестной старушке. У одной русской, которая жила с дочерью, я покупала козье молоко. Как-то раз я сказала ей, что им с дочкой, наверное, хорошо жить вдвоем, а она мне с болью в голосе ответила: «Что ж тут хорошего?! Два года назад в пятой шахте произошел обвал, в котором погибли четверо сыновей и муж...» Из оставшегося молока Пилипонене то творожок делала, то блинчики жарила. Приехали Вайдас с мамой и поселились в другом бараке. Жили там две литовки — сестры Дайлидите, мы стали ему сватать Бируте, но он подружился с Марите.

Я производила ревизии, кое-кому помогала составить отчет. В магазине удалось купить красивую импортную кофточку и безрукавку Юргису. Купила я даже коврик, правда недорогой, но красивый — с розами и фиалками на черном фоне. Словом, разбогатела, купила пальто и даже сделала себе шестимесячную завивку. Только люди здесь все время менялись — одни приезжали, другие уезжали, кого-то сажали, и каждый день мы слышали истории, одна другой страшнее. Самыми спокойными были литовцы, грузины и армяне.

Приехал новый начальник электростанции Виктор Неруш с красавицей женой Еленой Вениаминовной (Дануте называла ее Витаминановной). Витаминановна работала со мной в конторе, мы с ней подружались, а Виктор принял на работу много литовцев, хотя за это не раз получал нагоняй от отдела госбезопасности: «Пускай ссыльные уголь копают, а не по цехам слоняются!»

Состояние отца Юргиса становилось все тяжелее, и ему сделали операцию. Пенициллин был тогда еще но-

винкой, и достать его можно было только у спекулянтов. Двоюродная сестра Веруте работала в якутской больнице, ей удалось получить лекарство, и она переслала его катером. Отец выздоровел и снова стал работать экономистом на шахте. Заболела и мама. В Якутске ей отняли одну грудь. Все закончилось благополучно, мама поправилась, и жизнь потекла по старому руслу. Вайдевугис ходил к Марите Дайлидите, и уже можно было рассчитывать на скорую свадьбу.

И снова на пороге стоял Новый год — 1954-й. Я приготовила угощение, а сама ушла заканчивать ревизию. Юргис принимал гостей, я вернулась уже со звоном курантов. Так завершился 1953 год, принесший много надежд, потому что умер Сталин. Помнится, тогда временный муж одной литовки, грузин, пригласил к себе праздновать 8 Марта, но мы отказались, так как боялись — кто мог знать, чем это чревато. Но грузин успокоил:

— Приходите, петь не будем. Выпьем за упокой его души — Сталин был парень ого! Он всех русских довел до нищеты. А знаешь почему? Да потому, что они захватили Грузию... Но у них ничего не вышло — они умирают с голоду, а мы, грузины, живем и будем жить!

Но вот год кончился, а существенных перемен не было.

Приближалось лето. Вайдас объявил, что женится на Марите. Я устроила свадьбу, даже цеппелины сделала. Русские, присутствовавшие на этой свадьбе, ели цеппелины и удивлялись:

— Какие вкусные огурчики! У нас таких не делают.

Вскоре брат с Марите уехали в Якутск. Там он стал работать руководителем кружка авиамоделизма при Дворце пионеров.

Наступила еще одна зима. Отец Юргиса снова почувствовал себя хуже. У мамы тоже появился новый узелок. Получив разрешение коменданта, мы оба вылетели в Якутск. Грустно простилась я с мамой — не было уве-

ренности, что увидимся когда-нибудь. Отец успокаивал нас. Вообще он был ко мне очень добр и не сказал ни одного плохого слова.

Невеселой была встреча 1956 года. Мама написала, что ее дела неплохи, живет она у Вайдаса, но у отца Юргиса обнаружили сильно запущенный рак. Юргис получил телеграмму, что больной слабеет. Брат Юргиса Альгис к тому времени жил в Бийске. Начальник выписал Юргису командировку: он должен был привезти трактор, а заодно сможет навестить отца. Отец умер в тот день, когда Юргис, простившись с ним, уехал домой. Похоронили его дети Гасюнене, никому не сообщив, рядом с Рамунеле.

Начальник Юргиса предложил мне перейти работать бухгалтером в экспедицию. Зарплата там на треть больше, и еще полагалась надбавка за работу в полевых условиях. Только надо было подождать, пока приедет главный бухгалтер экспедиции. В это время нам сообщили, что выдадут паспорта — надо сфотографироваться. И вот паспорта уже в карманах! Еще комендант сообщил, что отныне мы можем свободно перемещаться по Якутии. Но, если подумать, куда нам ехать в Якутии? Разве что в Якутск. Но где там жить? Хочу специально подчеркнуть, что устроиться на работу не составляло труда: достаточно было сказать, что ты литовец, и все двери открывались. Литовцы славились трудолюбием, добросовестностью, честностью.

Раз в столовой я увидела человека, очень похожего на Сашу Илюшенко, который был ревизором у нас в Крестах и симпатизировал мне — то заговорит, то на танец пригласит, а Юргис передавал мне записки от него. Саша приезжал из Якутска, где жил с женой и двумя сыновьями. Теперь этот человек так посмотрел на меня, что я сразу поняла — это действительно Илюшенко. Вскоре выяснилось, что он и есть главный бухгалтер. Когда Юргис узнал об этом, ему как-то расхотелось, чтобы я шла работать под началом Илюшенко. Да я и сама

не рвалась. Еще через несколько дней Юргис предложил вообще отсюда уехать. «Поехали в Алтайский край, к Альгису», — сказал он. Я согласилась. Вечером я пошла на почту и по телефону поговорила с мамой. Услышав мой голос, мама заплакала. Через пару дней от нее пришло письмо, адресованное Дануте. «Моя любимая Данутеле, если поедешь из Якутии, не оставляй меня одну, возьми с собой, очень прошу», — писала мама. Я поняла, что у снохи ей не сладко. Пришло письмо и от Вайдевутиса: «Бога ради, забери маму, она разрушает мою семейную жизнь». Как-то раз Юргис сказал мне: «Выбирай, с кем жить: со мной или с мамой!» Я спокойно ответила, что мама это мама и я не могу выбирать, пусть выбирает он. На том разговор и кончился, Юргис больше не возвращался к нему.

Мы стали собираться в дорогу. Прибыл пароход, мы погрузили свои пожитки на баржу и поплыли. Через пару дней добрались до Якутска. Мама встретила нас вся в слезах, просила не оставлять ее здесь. Я успокоила ее. На следующий день мы пошли в отдел госбезопасности, написали заявления, что хотим уехать в Алтайский край, город Бийск, к брату Юргиса и взять с собой маму. Велели прийти через неделю. Поселились мы в клубе. Мама готовилась к отъезду. Она пошла с Дануте в баню и по дороге домой спросила:

— Данутеле, хочешь мороженое?

— Ничего мороженого, бабушка, я не кушаю — ни снега, ни льда, — ответила девочка, не зная вкуса не то что мороженого, но и конфет.

Через неделю мы получили разрешение на выезд в Алтайский край. Радости не было конца. От Алтая уже не так далеко была наша Литва, может, удастся хоть на короткий срок съездить, навестить своих близких, оставшихся в живых!

Веруте к тому времени уже вышла замуж за Альгирдаса Чарняцкиса. Они нас провожали. Мы погрузили свои вещи на пароход. Билеты мы купили самые деше-

вые, и потому наши места были в трюме, на нарах. На пароходе было немало земляков — удирали литовцы, кто как мог, подальше от проклятого Ледовитого океана, поближе к родному дому.

После смерти Сталина была объявлена амнистия: из тюрем отпустили мошенников и воров, но не отпустили честных людей, так называемых политических, из которых мало кто к этой политике имел отношение. Много амнистированных было и на нашем пароходе. Мы их боялись, даже по-литовски между собой не разговаривали — не знали, как на это могут отреагировать другие пассажиры. Дануте тоже говорила по-русски, как мы ей велели. Только время от времени тихонечко спрашивала:

— Бабушка, еще нельзя по-литовски?

На руку я надела мамины испорченные золотые часики и очень боялась, что воры могут их сорвать, поэтому руку забинтовала. Деньги зашила в полотенце и им как корсетом затянула живот. Рядом со мной лежал амнистированный с больными ногами. Его дружки приносили ему поесть. Человек этот говорил, что хочет порвать со всей бандой, жить честно и спокойно, да только теперь он зависит от них, потому что они его кормят. А когда воротится домой, к своим, то попытается куда-нибудь уехать, но боится, что отделаться от лагерных знакомцев будет нелегко — они стремятся держать каждого в поле зрения и вовлекать в новые преступления.

Примерно час простояли в Олёмминске, на родине Дануте. Юргис повидался кое с кем из наших знакомых — они были огорчены тем, что мы уезжаем.

Денег у нас было немного, поэтому Юргис не пил. Соседи, когда у них кончались водка и деньги, пили чайную заварку, потом слонялись одуревшие, с почерневшими зубами. Однако стоило нашему пароходу остановиться в каком-нибудь городишке, как один из наших соседей, перетянув ремнем штаны и рубаху и завернув все в газету, прыгал в воду, вылезал на берег, одевался и исчезал в городке. Он появлялся перед отправлением па-

рохода, и вся компания собиралась вместе. Они делили деньги, ели и пили то, что удалось добыть.

Наконец мы добрались до Усть-Кута. Железнодорожная станция называлась Лена. Тут нам предстояло ждать. На участке «Лена — Тайшет» железнодорожное полотно было проложено совсем недавно, даже не было еще принято в эксплуатацию. Поезд тронулся, сначала ехали по горам, потом по тайге, мокрой и страшной тайге. Уже смеркалось, когда начались лагерь — были видны лишь сторожевые вышки, одни освещались, у других вырисовывались темные силуэты, прожектора были направлены на высокую ограду с колючей проволокой. Проводник запер двери вагонов. До слуха доносились выстрелы, собачий лай. Я боялась даже шевельнуться, однако сидеть у окна тоже было страшновато, и я легла на скамье. Поезд шел не спеша, видимо, дорога была еще не доделана. Люди рассказали, что отправляется он лишь по тем дням, когда из Якутска приходит пароход, а в обратный путь — когда набирается достаточное количество пассажиров, завербовавшихся на Север. Очевидно, для заключенных этот поезд был единственной возможностью совершить побег. Мне казалось, что поезд идет не по рельсам, а по костям. Как знать, может, и по папиным костям, постукивая, катятся поезда.

Приехали в Тайшет. Тут надо было купить билеты, а потом перебраться на другой вокзал. Но здесь совсем недавно прошли ливни, и была такая жуткая грязь, что машины не ездили. Билетов ожидало множество людей, очередь тянулась вдоль длинного забора, ждали неделями. Ходили с чайниками за кипятком, если удавалось что-то купить — ели. К счастью, погода стояла очень теплая. Вдруг я заметила, что одна женщина несет билеты. Спросила, где она их достала — ведь касса закрыта. Она сказала, что с маленькими детьми в комнате матери и ребенка можно получить билеты хоть на тот же день. Я помчалась туда. И в самом деле, там сидела женщина с билетами. Предъявила паспорта, свидетельство о рож-

дении Дануте и получила на тот же день билеты в Бийск. Юргис пригнал грузовик, мы погрузились и с грехом пополам добрались до другого вокзала. Пока перетаскивали вещи на перрон, извозились по уши в грязи. Подали поезд, и мы заняли свое купе. Это было самое настоящее купе, мне в таком ездить и прежде не доводилось — сколько ездила в Литве, все были сидячие вагоны. Над мягкими скамьями были прикреплены длинные зеркала, а мы такие грязные, что даже сидеть в таком великолепии было неудобно. Бросились приводить себя в порядок.

Поезд пошел. Выспались мы чудесно, хоть постель взяли всего одну — для Дануте. Утро было погожим. За окном тянулись луга, а на лугах — цветы. Мама, увидев цветущие ромашки, сказала:

— Данутеле, смотри, какие необыкновенные цветочки!

— На цветочки, бабушка, писать нельзя, — сказала Дануте.

— Боже, что вы сделали с этим невинным младенцем! — простонала мама.

Но вот наконец Новосибирск. Новый, красивый, многоэтажный вокзал. Тут наша последняя пересадка — в поезд, идущий в Бийск.

В Бийске нас встретила Вида, жена Альгиса. Мы все радовались, что снова вместе. А фамилии у меня и у Виды одинаковые — Масюлене, потому что мы замужем за братьями. Ее отец построил дом, в котором оставалось только доделать второй этаж. Там мы и поселились. В бийской газете на глаза попало сообщение о том, что виллюйская экспедиция, та самая, в которой работал Юргис и куда я тоже собиралась перейти, нашла алмазы. А это значит, что все рабочие и служащие экспедиции получили огромные премии. Юргис по этому поводу очень сокрушался. Я начала искать работу. Юргис снова устроился старшиной на катере, плавал по Оби и Бии и в Камне-на-Оби, в Доме колхозника, увидел на стене на-

ши с Римантасом рисунки. А я на доске с объявлениями прочла, что строительно-монтажному тресту требуется бухгалтер. С характеристиками и документами я пошла к начальнику. Он полистал мою трудовую книжку и поинтересовался, почему я так часто переезжаю с места на место. Я ответила, что под давлением обстоятельств. Характеристики он даже не стал смотреть, сказав, что лучшая характеристика это то, что я литовка. И еще спросил:

— Больше никуда не поедешь?

— Если разрешат вернуться в Литву, не останусь ни минуты!

— Если разрешат, и я ни минуты держать не буду!

На другой день я приступила к работе. Приходилось сидеть и ждать, пока привезут какие-нибудь детали. У меня на столе лежал список деталей, которые надо было отобрать для треста. Я отбирала нужные, выписывала счета и звонила снабженцам треста, чтобы приехали и забрали. И снова сидела без работы. Я попросила главного бухгалтера, чтобы поручил мне еще что-нибудь. Взямась помогать девушке, выписывающей счета на тракторные детали.

И вот в один прекрасный день пришел начальник, усадил всех и прочитал открытое письмо, в котором разоблачались преступления Сталина. И тут же приказал уборщице снять со стены портрет Сталина. Уборщица струхнула и не двинулась с места. Тогда он сам влез на стул, снял портрет и отнес в кладовую.

На вокзальной площади стояла статуя Сталина. Приехал грузовик, водитель привязал веревку за ее шею и поволок памятник на свалку. Люди проходили мимо, громко проклиная бывшего «вождя и учителя».

Мы все еще жили в не достроенной до конца мансарде. Перед Рождеством я побелила стены. У нас уже стояла печурка. Юргис с отцом Виды настелили пол. Двери старик утащил со стройки, Юргис принес их и навесил. Альгирдас был очень добросовестным, никто не

мог заставить его воровать. Он возводил стены, складывал печи, все делал сам, не шадя себя, и всегда на совесть. Приехал брат Виды Витукас. Я видела его, когда ему было лет двенадцать, а теперь передо мной стоял очень красивый молодой человек. Он учился в Барнауле, в институте. Через какое-то время он приехал с девушкой Ромуте и сказал, что это его жена. Дануте первая назвала ее госпожа Ромуте. Весной Дануте заболела скарлатиной, и мама легла с ней в инфекционную больницу. Зеленкой медсестра мазала сначала маму, потом мама мазала Дануте, а Дануте — свою куклу.

В Бийске было два сахарных завода, однако если нам и удавалось купить сахар, то только в киоске во дворе милиции. Кстати, был он кусковой, расфасованный в Паневежисе. Интересно, был ли это литовский сахар, или — по невероятным правилам того времени — бийский сахар посылали для расфасовки в Литву? Был в Бийске и молокозавод, но сливочного масла в магазине не довелось видеть ни разу. Мясо в течение целого года тоже не видели. Был майонез, потому что люди не знали, что с ним делать. Когда меня спрашивали, куда его класть, я говорила, что очень вкусно получаются яйца под майонезом. Однако русские не понимали, как можно есть одни яйца — это слишком накладно, яйца надо использовать для приготовления теста. На хлеб мы мазали только маргарин, изредка покупали брынзу. Суп сдабривали растительным маслом с поджаренным луком. Однажды, отстояв гигантскую очередь, мама купила свиные хвосты. Было невероятно вкусно! Мы жарили картофельные блины, иногда мама пекла булочки, из кислого молока делали творог...

Оказалось, что Витукас уже ездил на каникулы в Литву. О таком отпуске мечтали и мы, но надо было накопить денег. Это было нелегким делом. С Нового года отец Виды стал брать с нас за жилье по 150 рублей. Вида рассердилась на него, сказав, что мы сами построили ему второй этаж, но он не уступил. Мы аккуратно вы-

плачивали эту сумму. Дом, по сравнению с другими бийскими домами, был очень красивым. Отец Виды, архитектор, сам создал проект, и люди приходили посмотреть на наш дом.

Однажды в обеденный перерыв пришла уборщица из отдела госбезопасности.

— Масюлене тут работает?

— Тут. Это я, — ответила я упавшим голосом, не ожидая ничего хорошего.

— После работы зайдите в НКВД.

Я помчалась сразу с работы.

— У вас есть награды? — спросил гэбэшник.

— Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

— За эту награду вы освобождаетесь от ссылки. Но вернуться туда, откуда вас вывезли, не разрешается.

— Тогда мне и вашей свободы не надо, раз нельзя поехать домой, — сказала я, осмелев.

— Если сумеете прописаться, можете жить, — уже мягче ответил он.

— А как же семья? — спросила я.

— Пусть напишут заявления об отмене ссылки.

Повторять не пришлось. Вернулся Юргис из рейса и сразу же отнес заявления. И он, и мама получили ответ, что могут ехать куда угодно, кроме Литвы. Несмотря на это, мы решили сразу уезжать домой — на родину. Я попросила своего начальника об увольнении. Он сказал:

— Не хочется отпускать, но ведь я дал слово не задерживать ни минуты...

Мы продали на базаре постельное белье, еще кой-какие вещи. Все равно кто-нибудь из родственников даст подушку. Виду тоже отпустили, так как она была учительницей: негоже было ссылкой учить детей патриотов! Вида скоро должна была рожать, поэтому очень торопилась с отъездом: лучше родить в Литве, чем везти новорожденного. Вида вернулась в Литву 30 апреля 1956 года, остановилась у моей тети, маминой сестры Касту-

те Закавичене, а 1 мая родила девочку. Мы попросили ее сразу же по приезде написать нам, что происходит в Литве. Скоро пришло письмо: «Мои дорогие, Литва — это рай! Базар ломится, магазины полны. Не понимаю, чего людям не хватает...»

С колотящимися от волнения сердцами начали мы свой путь домой. Добрались до Москвы. Мы с Юргисом решили задержаться тут на денек — может, никогда больше не доведется увидеть воспетую в песнях столицу. Маму с Дануте посадили в поезд, свои билеты компостировали на следующий день. Погуляли в парке Горького, съездили на Красную площадь, увидели Кремль, Мавзолей Ленина. Ночевали на вокзале. На другой день вечером сели в поезд и крепко уснули. Однако проснулись очень рано. Почти безотрывно смотрели в окно. «Это уже Литва?» — то и дело спрашивала я у Юргиса. Сердце так билось, что казалось, выпрыгнет и само полетит домой, прямо по лугам... Боже, только бы не умереть, только бы еще увидеть свою дорогую родину, своих близких! И если бы увидела границу с надписью ЛИТВА, сердце точно бы разорвалось. Наконец приехали на станцию ВИЛЬНЮС... Господи, вот уже и дом!

Я выпрыгнула из вагона. На перроне женщина продавала мороженое. Я подошла и, ликуя от мысли, что наконец-то можно обратиться на своем родном языке, вежливо спросила:

— Почем мороженое?

— Как? — не поняла она.

Меня словно кипятком обожгло. «Оккупанты!» — то ли сказала, то ли подумала я.

— Какать еще не хочу! — сказала я громко и, резко развернувшись, вернулась в вагон.

— Юргис, тут русские! Понимаешь, даже продавщица мороженого не говорит по-литовски! Почему она не едет домой?!

Поезд приближался к Каунасу. В окно мы увидели Неман. Мы поняли, что это наш родной Неман, однако

после огромных сибирских рек он казался таким узеньким, что мы даже усомнились, Неман ли это. А вот уже и туннель! Боже, какое счастье, Боже, какое счастье!

На вокзале нас встретила Камуте. С ней мы поехали к тете. Поселились на улице Занавику, в доме у самого базара. У тети было две маленьких комнатки. Когда мы с багажом приехали к тете, тут же явился милиционер.

— Раскройте чемоданы! — приказал он.

Порывшись в них, ушел. Тетя объяснила, что нас, видимо, сочли за спекулянтов, привезших что-то для продажи.

Искать работу мы могли, только получив прописку. Где прописаться? Где получить жилплощадь? Тетя работала учительницей в женской гимназии «Аушра», и учительница Вокетайтите, имевшая на улице Кальнечу собственный дом, полученный в наследство от отца, позволила прописаться у нее. Однако нас не прописывали. Тетин сосед, пьянчужка Лукаускас, как-то сказал, что у него есть приятель в милиции, большой любитель выпить, и если мы неделю будем его хорошо поить, то он нас пропишет. Мы продали пишущую машинку Юргисова отца, которую вернул профессор Малеинас, и стали поить милиционера. Каждый божий день угощали его так, что вечером приходилось чуть ли не волоком тащить домой. Прошла неделя, и милиционер сдержал свое обещание — взял домовую книгу, паспорта и в тот же день вернулся со штампами о прописке.

Теперь можно было искать работу. Мы ходили по разным предприятиям, показывали блестящие характеристики, но все было напрасно. Стоило кадровикам увидеть, в каких краях мы работали раньше, как тут же давали от ворот поворот. Я узнала, что моя бывшая школьная подруга Люда Кевалайтите — начальник отдела заработной платы на заводе «Красный Октябрь». Я обрадовалась, узнала ее нынешнюю фамилию и поспешила к ней. Кто-кто, а уж Люда, с которой мы все школьные годы учились в одном классе, посочувствует и

поможет мне. Отправилась я на завод, попросила вызвать Люду. Пришла Люда, та самая Люда, с которой мы в школе имени Йонаса Яблонскиса сидели на одной парте. Она меня тоже узнала.

— Люда, будь другом, помоги, второй месяц ищем работу, не важно какую, просто жить не на что!

— Знаешь, Юрате, не могу. Если бы ты вернулась не из Сибири, приняла бы, а так не могу...

Я повернулась и ушла.

— Давай вернемся в Россию! — не выдержал Юргис. — Там получим и работу, и жилье!

Однако тетя поговорила с родственницей доктором Ядвигой Заковичайте, та — со своей знакомой, бухгалтером фабрики «Кауно аудиняй» Марией Синкявичюте, и 1 августа я приступила к работе бухгалтером в ткацком цехе. Приняли меня временно исполняющий обязанности начальника отдела кадров Антанас Сонгайла и временно исполняющая обязанности начальника цеха Янина Келерайте. И Юргису тоже помогли устроиться завхозом на санэпидстанцию. Мама уехала в Вильнюс снова как художник Театра оперы и балета. Мамин двоюродный брат Ричардас Валюлис нашел нам комнатку в Вилиямполе. Родственники дали кровать, стол, два поломанных стула, и мы начали жить.

* * *

Семь лет проработала я на ткацкой фабрике «Кауно аудиняй». И наконец исполнилась моя мечта — я попала в художественные мастерские, по вечерам рисовала узоры для шелковых тканей, доказала, что могу делать это не хуже, чем дипломированные специалисты, и меня перевели работать художником. В 1969 году я вышла на пенсию. Теперь я стала народным мастером. В своей жизни я совершила ошибки, которые и сегодня продолжают мучить меня, однако изменить уже ничего не могу.

В 1959 году, уже в Каунасе, родился сын Далюс. Нам, счастливо вернувшимся, ссылка напоминает о себе и телесными недомоганиями — мучает ревматизм, болят суставы, ощутимо сдает сердце. В 1971 году, не дожив до сорока девяти лет, умер Юргис. Я осталась вдовой с тремя иждивенцами. Мама, четыре года пролежав парализованной, умерла в 1976 году. Лишь благодаря тогдашней администрации фабрики я смогла должным образом ухаживать за ней — прекрасные люди главный инженер А.Вайдакавичюс и начальник производственного отдела Э. Марцинконене разрешали мне работать дома. Дануте, которая из-за ревматизма сердца провела детство в постели, все же стала дипломированной художницей, то есть продолжает дело нашей семьи. Она со своей семьей живет в Вильнюсе. Вайдевутис с семьей в 1957 году вернулся в Литву. В 1974 году он побывал в Якутии, на берегу Яны, где погиб Римантас, поставил новый крест и прикрепил привезенную из Литвы никелированную табличку с надписью. Когда он приехал туда во второй

раз — в 1980 году, — взял с собой кинокамеру. Запечатлел места, где прошла наша юность, однако гэбэшники засветили пленку и еще допытывались у него, кому и какие сигналы он подает от креста Римантаса, — дескать, освещенная солнцем никелированная табличка отражает лучи света. Ему все же удалось привезти негативы снимков. Выйдя на пенсию, он собрал все изданные папой книги, собирал материал о его деятельности, переписывался с рижским архивом и оттуда, предварительно оплатив работу, получал копии папиных статей, опубликованных в газетах «Сегодня» и «Эхо». В 1986 году Вайдеутис умер. Кстати, от знакомых мы узнали, что в КГБ на деле Вайдеутиса стоит гриф «Особо опасный».

С товарищами по судьбе — так называемыми сибиряками — встречаемся как с родными. Стоя у могилы кого-нибудь из сибиряков, с грустью замечаем, что нас — вывезенных 14 июня 1941 года — раз от разу становится все меньше. Ушедшие свои воспоминания уносят навсегда...

СОДЕРЖАНИЕ

Анатолий Ким. Когда уходят обиды...

5

**ЮНОСТЬ НА БЕРЕГУ
МОРЯ ЛАПТЕВЫХ**

9

Юрате Бичюнайте-Масюлене
Юность на берегу
моря Лаптевых

ВОСПОМИНАНИЯ

Редактор И.В.Опимах

Бичюнайте-Масюлене Ю.

Б67 Юность на берегу моря Лаптевых: Воспоминания: Пер. с лит. — М. Текст, 2001. — 223 с.

ISBN 5-7516-0259-5

В 1941 году советские власти выслали из Литвы более 400 000 человек. Среди них была и юная Юрате Бичюнайте. В книге воспоминаний, которую она написала через 15 лет, вернувшись на родину, Юрате рассказывает «все, что помнит, все, как было», обо всем, что выпало в годы ссылки на долю ее семьи и близких друзей. На русском языке издается впервые.

УДК 821.17
ББК 84(4Лит)

Лицензия ИД № 03308 от 20.11.2000

Подписано в печать 25.04.2001. Формат 60 x 90/16.

Усл. печ. л. 14. Уч.-изд. л. 10,28. Тираж 3500 экз. Изд. № 354.

Заказ № 3414

Издательство «Текст»

125299 Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 7/1

Тел./факс: (095) 150-04-82

E-mail: textpubl@mtu-net.ru

<http://www.mtu-net.ru/textpubl>

Представитель в СПб. и «Книга — почтой»: (812) 311-96-31

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленных диапозитивов
в ОАО «Можайский полиграфический комбинат»
143200 г. Можайск, ул. Мира, 93

Юрате БИЧЮНАЙТЕ-МАСЮЛЕНЕ

(1924 — 1998) родилась в Каунасе.

В 1941 году закончила гимназию,

но аттестат зрелости получить

не удалось — в Литве начались
массовые репрессии и депортации.

В 1942 году отца Юрате расстреляли

по решению особого совещания,

а мать с детьми сослали в Сибирь.

Только в 1956 году им позволили

вернуться на родину. Юрате всегда

хотелось стать художницей,

и в конце концов ей это удалось.

В Литве знают и любят ее живопись

и графику. В воспоминаниях

«Юность на берегу моря Лаптевых»

Бичюнайте-Масюлене рассказывает

о том, что пережила ее семья за годы

ссылки, об искалеченных человеческих

судьбах. Книга, опубликованная

в 1990 году, получила широкую

известность в Литве. На русском языке

издается впервые.

ISBN 5-7516-0259-5



9 785751 602598

